



В. МОСКОВКИН

ЛИЩЕ ИСТЬ



В. МОСКОВКИН

ЛИЦЕИСТЫ

Р о м а н

Верхне-Волжское книжное
издательство Ярославль 1966

P₂ Московкин В. Ф.
Т 82 Лицеисты. Ярославль, Верхне-
Волжское кн. изд., 1966.
183 стр.

Художник *Н. Кирсанов*

Родился Виктор Московкин в деревне, но воспитал его стариинный, самобытный фабричный район комбината «Красный Перекоп», бывшой Ярославской Большой мануфактуры. Район со своими нравами и обычаями, своим особым говором, играми, каких не было нигде кроме. Здесь принял он и первое трудовое крещение, сначала в ремесленном училище, затем на заводах города в годы войны. А там уже — и первые рассказы, и Литературный институт имени Горького.

Жизнь учила самостоятельности, учила взглядываться в людей и открывать их, пока еще — для себя. Разное открывалось. А в целом прежде всего — душевная щедрость рабочего люда, с которым был он всегда. И простота, скромность, сдержанность в слове. И здравая ясность взгляда на вещи, способность к юмористическому, даже чуть озорноватому осмыслению бытия. Теперь, когда сложился характер Московкина-человека, эти качества обнаруживаются в нем самом, они сказываются и в Московкине-писателе. В книгах для детей «Валерка и его друзья», «Человек хотел добра», в молодежных «Как жизнь, Семен?», «Шарик лает на луну» — везде эта щедрость в изображении простого человека, видение всего хорошего в нем. И везде добрый юмор с озорноватинкой, везде — без лишних слов, без каких бы то ни было красиностей слога или пространных описаний, без «воды», как говорят пишущие. Все будто обыденно-просто, безыскусственно и — по-настоящему жизненно, интересно.

К исторической теме Виктор Московкин пришел уже довольно известным в литературной среде. Будучи напечатанными в Москве (в журнале «Юность»), его молодежные повести заинтересовали широкий круг читателей. Об одной из них — «Как жизнь, Семен?» — писали чуть ли не все центральные газеты и толстые журналы. Отдельным изданием вышла она в Литве, затем в Болгарии, Чехословакии.

В историческом романе писатель остался верен своим художественным принципам, своему стилю. Впрочем, это естественно, ибо его тема — история родного «Перекопа», а стиль — он и прежде был с заметным перекопским акцентом. Здесь он оказался просто незаменимым и проявляется в полную силу.

В первом романе, «Потомок седьмой тысячи» (Ярославль, 1964), — Большая мануфактура конца прошлого столетия, пробуждение сознательной борьбы рабочих за свои права и знаменитая стачка 1895 года, когда в безоружный народ стреляли солдаты Фанагорийского полка. В «Лицеистах» — та же фабрика начала девятисотых годов, когда пропагандистскую работу ведут революционно настроенные студенты Демидовского юридического лицея, бурный 1905 год, первый рабочий Совет и — снова расстрел, расправа с вожаками рабочего движения. Как будто обычные историко-революционные книги. Но Московкин не идет по пути облегченной беллетризации фактов, его герои живут в романе своей жизнью, они — жизненно достоверные, интересные личности, люди со своими характерами и судьбами. Интересны и представители господствующих классов — без тени карикатуристи, умные, сильные противники. Столкновение с ними всегда исполнено напряжения, драматизма.

В этом кратком предисловии-аннотации невозможно дать хотя бы беглую характеристику «Лицеистов», сложных взаимоотношений героев романа. И нужды нет: перед читателем сама книга. Хочется лишь сказать, что она свидетельствует о росте писателя. Роман болеестроен по сравнению с первым, автор уверенно владеет материалом, пишет, как говорится, «на свободном дыхании». И — еще строже, сдержаннее по форме, щедрее по содержанию.

К. ЯКОВЛЕВ

*Старой рабочей гвар-
дии — волжским ткачам
посвящается*

ГЛАВА ПЕРВАЯ



1

Во второй день рождественских праздников к Романовской заставе—двум высоким столбам с железными орлами на верху и полосатой будке у края дороги—валили толпы народа. Шли тесно, запрудив примыкающие, занесенные снегом улочки, ежились от холода, прятали носы в воротники пальто. Срединой пробивались извозчики—рожи красные, наглые,—кричали на зазевавшихся, гикали с удастью. В звенящем сухом воздухе гомон стоял невообразимый. Все спешили на скачки.

Левее заставы ровное поле, огороженное высоким забором,—городской ипподром. Перед входом на порыжевшей доске указаны лошади, участвующие в бегах. Здесь останавливались.

Чиновники, мастеровые, зимогоры—кого только не было у окопечек касс. Волновались, отсчитывали монеты. Ставили на счастье. Сгорбленная старуха била кулаком в грудь стоявшему перед ней верзиле, повторяла:

- Выиграет Мэри. Николаша, поставь на Мэри.
— Не настаивайте, мамаша, — досадливо морщился тот. —
Сапфир — самая рысистая лошадь.
— Мэри, Николаша, — не сдавалась старуха. — Помяни меня, выиграет Мэри.
— Ах, мамаша, что вы понимаете...

Смех, крики. Озорные парни из мастеровых нарочно устроили в воротах давку. Переглянулись, притиснули купчиху в богатой шубе, в меховой шапке, обвязанной поверх платком. У купчихи глаза полезли на лоб, задохнулась с открытым ртом. Чуть живая выбралась на свободное место, заголосила тонко:

— Ой, глазыньки мои застило, свету белого не ви-иж-у! Да что же вы хулиганите, погубители окаянные?

Потом отышалась, пошла честить со злобой:

— Антихристово племя! Шарамыжники! Попадитесь вы мне в другом месте!

Парни хохотали ей вслед, свистели. Сторож попытался сознать их, но и его затолкали в толпу. От озорников боязливо шарахались в стороны.

К воротам подошли молодая женщина в короткой шубке, в беличьей шапочке и рослый мастеровой с курчавой, побелевшей на морозе бородкой, — Варя Грязнова и Федор Крутов. Парни двинулись к ним, нажали.

Федор оглянулся, широкой ладонью накрыл ближнему голову, оттолкнул.

— Чаво? Чаво? — оторопело заговорил парень, подхватывая на лету свалившуюся шапку. Вытаращил злые глаза, снова на-двинулся. Федор опять легонько толкнул его.

Варя тянула за рукав, уговаривала испуганно и сердито:

— Идем же, Федор! Не ввязывайся...

Беспрепятственно прошли в ворота. Парни молча смотрели им вслед — растерялись.

На расчищенной и укатанной площадке перед конюшнями постройками уже готовили лошадей — запрягали в легкие, сделанные из тонких планок санки. В середине деревянного навеса, который делился на отдельные кабины, играл марши духовой оркестр Фанагорийского полка. Косое зимнее солнце, что висело неярким красным шаром у горизонта, мутно поблескивало на медных трубах.

Оберегая Варю от толчков, Федор выбрался к навесу. Здесь было не так тесно — в кабинах размещалась только чистая пуб-

лика. Для тех, кто поплоше, с боков навеса были установлены в несколько рядов длинные, белые от инея скамейки.

Очутившись на просторе, без толкотни, Варя пришла в себя, укоризненно стала выговаривать:

— С тобой все что-нибудь случается. Боязно показываться на люди...

Федор удивленно глянул на нее — брови нахмурены, носик воинственно вздернулся. Потерся виском о мягкий мех ее шапочки.

— Что же я должен был делать? — спросил с любопытством.

— Мог обойтись и без кулаков.

— Ладно, не сердись, — миролюбиво остановил он ее. — Ничего такого не было.

Служитель с окладистой бородой, в темной шинели, в фурожке с кокардой и суконными наушниками принял от Вари билеты, распахнул дверь крайней кабинки.

Первые два места у барьера были уже заняты. Сидели женщины, тепло укутанные одинаковыми пуховыми платками. Они оглянулись. Федор хотел поклониться, но выражение лица той, что была старше, заставило его забыть о своем намерении. Полные щеки женщины покрывались гневными пятнами, глаза пепелили.

— Поражаюсь вашей смелости, сударыня, — с ненавистью сказала она Варе. Сорвалась с места, дернув за руку свою соседку. — Пойдем, Лизонька, мы возьмем другое место, подальше от этой...

Лизонька — хрупкая, с болезненным бледным лицом — растерянно смотрела на вошедших. Взгляд ее будто говорил: «Ах, пожалуйста, не думайте обо мне плохо, я тут ни при чем».

Дверь захлопнулась.

Федор зачем-то прикрыл ее поплотнее, сказал только для того, чтобы что-то сказать:

— Садись, Варюша, места у нас — лучше не придумаешь.

Она медленно опустилась на лавку, спрятала горевшее лицо в воротник шубки. Федор рассеянно уставился на поле.

— Прости меня, — робко сказал он, боясь неосторожным вопросом причинить ей новую боль. — Совсем не представляю, как надо было вести себя в таком случае. Отчего они сбежали отсюда? Знакомые?

Варя водила пальцем в шерстяной перчатке по заиндевелому деревянному барьери. Темные полоски оставались на нем.

Она смотрела перед собой и, наверно, ничего не видела. Федор легонько коснулся ее локтя, заставил очнуться.

— Будущие родственники. — Голос у Вары дрожал, отводила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. — Младшая — невеста Алексея Флегонтовича... Как она придется мне?

— Сноха, — машинально ответил он, раздумывая, чем же Варя не угодила своим будущим родственникам. — А мать ее для тебя — сваха.

Варя зябко передернула плечами.

— Сноха... сваха, — тихо проговорила она. — Обнадеживающее начало. — Кротко улыбнулась и спросила: — Неужели не понимаешь, почему она озлилась?

Еще не веря своей догадке, Федор спросил:

— Неужели из-за меня?

Можно было не отвечать, обо всем сказали ее стыдливо за-пунцовевшее лицо.

Снизу, от конюшенных построек доносились крики. Там происходило что-то непонятное. Служители старались увести с беговой дорожки лошадь, запряженную в простые крестьянские сани. Им мешал низкорослый мужик в полушибурке, хромой. Вокруг теснились любопытные, шумели, размахивали руками.

Федор чувствовал себя виноватым перед Варей, попытался обнять ее, как-то успокоить. Она высвободилась, попросила коротко:

— Не надо.

— Тебе приходится терпеть... — И не договорив, неожиданно вспылил: — Может, и ты стыдишься меня? Какая из нас пара...

Варя долгим, внимательным взглядом посмотрела на него, грустно усмехнулась.

— Почему-то я решила, что ты выше всех этих пересудов. Что они думают о нас — совсем неважно. — И пожаловалась: — Просто я опешила поначалу. Алексей остался дома, никак не думала, что они придут.

— Перебиралась бы совсем из его дома, — посоветовал Федор. — Найдем хорошую недорогую комнатку... А Артем как тебе обрадуется.

Она молчала. Федор пождал немного и покорно сказал:

— Тебе видней. Что ты ни сделаешь, для меня все ладно.

Сзади зло завизжали мороженые половицы. Вошли трое. Один лет тридцати, в коричневом длиннополом пальто с ворот-

ником шалью. Разрумянившись на морозе, он весь светился радостью. С ним парень в студенческой тужурке, в ботинках на тонкой подошве, темноволосый, с усиками, и девушка, спи-неглазая, с выбившимися из-под шапочки светлыми волосами.

— Друзья, не помешаем? — справился старший.

Федор недовольно рассматривал его. Что-то знакомое было в нем. Смотрел, смотрел и вдруг неуверенно, растягивая слова, произнес:

— Никак, Иван? Иван Селиверстов?

Тот лягнул ногой, обрадовался.

— Вспомнил! — завопил он. — Вот бы никогда не подумал, что узнаешь. — Ласково потряс Варе руку, назвав ее по имени, обернулся к студенту и девушке: — Машенька, Мироныч, располагайтесь. А я поближе к Крутову. Хоть наглядеться на человека, лет восемь не видел.

Сверху из-под крыши навеса донесся предупредительный удар колокола. На беговой дорожке выстраивали лошадей. Рядом с крупным огненно-рыжим жеребцом, запряженным в легкие высокие санки, — в них сидел чернобородый человек в романовском полушибутке с оторочкой, в папахе, — пристраивался с тонконогой лошаденкой давешний хромой мужик, который скандалил со служителями. Из публики, расположившейся на скамейках, несся раскатистый хохот, козлиное блеяние, летели слежавшиеся комки снега. Мужик старался казаться невозмутимым, стоял в санях на коленях, склонив голову, будто прислушивался к чему.

— Надо посмотреть, — сказал Селиверстов тоном человека, который давно мечтал о таком зрелище. — Ожидается потеха. Этот чудак в крестьянских санях — угольщик, откуда-то из-под Рыбинска. Говорят, ехал с Сенного рынка, вздумал сюда завернуть. Сначала не пускали, потом, видимо, решили позабавить народ. — Рассказывая, Селиверстов не сводил глаз с Федора. — А возмужал ты сильно, морщинки лишние появились, — заметил он.

— Если бы ты помолодел, — усмехнулся Федор.

— Мне частенько вспоминалось, как я у вас в каморках в гостях был. И Андрей Фомичев, и этот смешной Прокопий Соловьев, и Марфиныка. Как они? Живы? Здоровы?

Федор, прищурясь, разглядывал его. Невинная радость на румяном лице Селиверстова смутила. «Неужели совсем ничего не знает?»

— Прокопия застрелили солдаты на фабричном дворе, — стараясь быть бесстрастным, поведал он. — Марфуша жива. Года три тому назад похоронила мать. Тетку Александру, наверно, помнишь? Фомичев, так же как и я, был осужден за подстрекательство к бунту. Сейчас работает на фабрике.

— Ладно, после об этом, — погрустневшим голосом сказал Селиверстов. — Мог бы что-нибудь поприятнее сообщить, — неловко пошутил он.

За их спинами стучал каблуками о промерзший пол студент, которого Селиверстов назвал Миронычем. Федор покосился на него. Студент улыбнулся посиневшими губами, виновато доложил:

— Крепко прихватывает.

— Была нужда в такой одежке переться сюда, — грубо сказал Федор.

Успел заметить, как возмущенно сверкнула глазами подруга студента Машенька — обиделась. «Ого, эта за него насмерть стоять будет», — с завистью отметил он.

2

Ударил колокол, и то, что произошло дальше, заставило публику напряженно притихнуть. Сначала из-за поднявшегося снежного вихря трудно было разобрать, кто вырвался вперед, но уже перед первым поворотом стало видно, что бег ведут огненно-рыжий жеребец и лошадь угольщика. Тонконогая, невзрачная лошаденка шла ровной частой рысью. Чернобородый, никак не ожидавший, что мужик на крестьянских санях окажется достойным соперником, нервничал, оглядывался. Он первый пришел к повороту, но, заворачивая, слишком круто рванул поводья, и санки стало заносить, из-под полозьев сильно брызнула струя снега. Боясь перевернуться, он сдержал жеребца, и этого оказалось достаточно, чтобы угольщик обогнал его.

Публика бесновалась. Как это и бывает, теперь многие хотели видеть угольщика первым. «Славно! Славно!» — рвался зычный голос из соседней кабинки. «Наддай!» — поддерживали этот крик десятки глоток.

Федор всего раз или два бывал на ипподроме и не понимал особой прелести в стремительном беге лошадей, но тут тоже

оживился, не замечая того сам, крепко сжимал Варе руку. Ей было больно, и она сказала об этом. Федор на какое-то мгновение опомнился и даже чуть отодвинулся, решив, что ей неприятно его прикосновение, и опять был захвачен происходящим на снежном поле. Сбоку толкался, привскакивал Селиверстов и тоже орал: «Гони! Дай ему жару!»

После второго поворота огненно-рыжий жеребец отставал на добрый десяток метров. Все ближе конечная черта. Рискуя быть сбитыми разгоряченными лошадьми, с боковых скамеек повскакали люди, бежали к краю дорожки. Селиверстов задергал на лавке, крепился из последних сил. Потом все-таки не выдержал, крикнул:

— Встречу вас у ворот!

Сорвался с места и выбежал из кабинки.

Поднялся и студент с Машенькой. Тогда все решили идти поближе к выходу.

Угольщик пришел первым и теперь сдерживал разбежавшуюся потную лошадь. Чернобородый остановился рядом, выпрыгнул из саней — был мрачен, ни на кого не смотрел. Окружившие их зеваки вдруг шарахнулись в стороны. Раздался слабый револьверный выстрел. Рыжий жеребец всхрапнул, рухнул на снег. Чернобородый — возле него было пусто — решительно шагнул к лошади угольщика. За суматошными криками второго выстрела почти никто не слышал.

У ворот ипподрома толпа бурлила, не думала расходиться. Грудились возле мастерового с серым без кровинки лицом. Мастеровой хлопал себя по ляжкам, скалил зубы:

— Любитель он, наш-то, на лошадях гоняться. Да что там, каждый в городе знает вахрамеевского Сапфира. Не то чтобы раз или два призы брал — никогда его не обгоняли. А тут этот мужичонко, соплей перешебешь... Наш-то, понятно, разозлился: лошадей и пристрелил вгорячах. Тыщу рублей дал угольщику и велел убираться, покудова цел. А тот ему говорит: «Зря, барин, коней сгубил, тебе, Вахрамееву, со мной не тягаться...»

Мастеровой оглядел собравшихся и, довольный тем, что знает больше, чем остальные, весело продолжал:

— И открывается он тут, кто, значит, такой... Вот как было. Будто бы угольщик вовсе не угольщик, а наездник питерский. Все его знают. Упал он летось на скачках, с тех пор и пере-

брался в деревню, ногу вывихнутую лечил. Заодно углем торговал. С Сениной ехал, не стерпел... У нашего-то челюсть отвисла, когда услыхал, с кем гоняться пришлось. Сразу же ему предложение делает: так, мол, и так, иди ко мне на службу, озолочу. Будешь моей конюшней ведать. Полную волю обещал, лишь бы только лошади хорошие в конюшне были. «Нет, не пойду, — говорит тот, — ссориться будем: лошадей ты не любишь, барин». Взял он свою тыщу из его рук, лошадь убитую в губы поцеловал и похромал с поля.

Толпа слушала, мастеровой распалаляся пуще, даже жарко стало — расстегнул верхние пуговицы пальто.

— Теперь наш-то опомнился, волосы на себе рвет. Сапфира ой как жалеет, больно хорош рысак был. Велел шкуру содрать и опилками набить. «Чтобы как живой был, — наказывает, — на заводском дворе против окон конторы поставлю»...

Селиверстов выбрался из толпы к дороге, где его ждали. Студент совсем закоченел, но был оживлен, спорил с Варей о какой-то актерке Беленской, которая недавно появилась в городском театре и покорила публику. Федор прислушивался к ним и скучал. Когда подошел Селиверстов, разговор оборвался. Сначала все шли молча.

— Это какой Вахрамеев? — спросил Селиверстов. — Здесь их несколько. Не городской ли голова?

— Другой, — ответил Федор. — У этого свинцово-белильный завод недалеко от Федоровской церкви. Каторгой зовут. Идут туда, кому уж больше ничего не остается.

— Лихач, видать. Не удалось по правилу, решил другим взять. Все равно весь город станет говорить о нем. Ему только того и надо. Герой!

Пригляделся к Варе, заметил ласково:

— Свет-матушка Варвара Флегонтовна что-то взгрустнула.

Варя в самом деле чувствовала себя неважно. Хоть и храбрилась, говоря, что ее мало трогает, как о ней думают будущие родственники, но осадок от неприятной встречи остался.

— Когда вы успели познакомиться? — удивляясь, спросил Федор.

— Ого, брат, — засмеялся Селиверстов. — Пришлось... — Подхватил Федора под руку, сообщил негромко: — От Вари я наслышан о том, что делается на фабрике. Кружки — хорошо, молодцы, но сейчас этого, Федор, мало. Надо устанавливать связи...

— Было бы с кем, — отчужденно заметил Федор.

— Есть с кем, не одна ваша фабрика в городе... Знаю, что ты непочтителен к лицеистам и все-таки прихватил с собой Мироныча. Если мне сколько-нибудь веришь, ему можешь верить вдвойне. Парень стоит того. Через него и связи у тебя будут...

Федор покосился на студента. Тот поймал взгляд, бесхитростно улыбнулся.

— Ладно, — удовлетворенно сказал Федор, — подружимся. Сам, надеюсь, заглянешь к нам.

— Рад бы, да не придется. Здесь я проездом. День, два задержусь — и дальше. Сейчас заглянем к Марье Ивановне, там поговорим обо всем. Кстати, у нас припасено для тебя кое-что. В обиде не будешь.

3

От Широкой — людного базара фабричной слободки — под уклон к Которосли тянется Тулупова улица. Возле базара дома двухэтажные, с каменным низом, с богатыми крылечками. В одном из них, угловом, трактир Ивлева. Ближе к реке избы покосившиеся — слепые оконца, сгнившие тесовые крыши, обросшие мягкой зеленью мха, покривившиеся заборы. Весной и осенью перед домами непролазная грязь, зимой сугробы в человеческий рост.

На этой улице и поселился Федор Крутов с сыном Артемом, сняв у домовладелицы Птицыной комнатку в нижнем этаже.

Комната махонькая, с низко нависшим закопченным потолком, одно окно в толстой стене. Много места занимает печь. Между печью и окном стоит кровать, с другой стороны небольшой стол, тут же у стены плетеный короб для белья. Столкнись вдвоем в проходе — не разойдешься, так он узок.

Василий Дерин сел на табуретку у стола. Был он в серой косоворотке, засаленной у локтей, пушинки хлопка прилипли к волосам — пришел прямо из фабрики.

— Не густо живешь, — сказал Дерин, оглядываясь.

Федор обернулся к нему, усмешка затаилась в глазах. Стоял он у кровати, собирая Артемкины тетради и складывал на подоконнике. Сына не было.

— Похуже, конечно, чем Ротшильд. Однако не жалуюсь:

вход отдельный, стены глухие, сам себе хозяин, не в каморках. Может, у тебя лучше?

— У меня хуже, — признался Василий, — но и здесь не мед. Скажи-ка, кто это Ротшильд?

— Заморский банкир. — Федор достал из-под стола стеклянную банку с огурцами, стал выкладывать в блюдо. — Раз, наверно, в пятьдесят богаче нашего Карзинкина.

— Ого! Значит, верно — живешь чуть похуже. Вроде моего отца. Мать-то, помню, на кухне, а он с мужиками в коридоре разговоры ведет. Спрашивает она его: «Яйцо-то все в суп опускать или половину?» Батя разгладит бороду, приосанится и орет: «Опускай все!» Пусть, дескать, люди видят, как широко живем.

Вошел Евлампий Колесников. Не в пример Дерину, он мал, узкогруд. Черные глаза беспокойно блестят. Сел на кровать и сразу потянулся к тетрадям на подоконнике, осторожно полистал, полюбовался крупным почерком.

— Сынок-то у тебя грамотный теперь. Чай, и письма писать может?

— Что ж не писать, буквы знает.

— А я давно собираюсь тетке письмецо направить. Читать могу, а чтоб самому писать — того нет, не выучен. Скажи ему, чтобы помог.

На всякий случай — неровен час, зайдет кто, — Федор подготовил закуску, выставил бутылку водки: кому до того, что мастеровые собрались после смены выпить.

— Подосенов не придет, хворает, — сообщил Евлампий.

— Слышал. — Из щели между стеной и печью Федор вытащил пачку листовок, завернутых в тряпичку. Отдал поровну Василию и Евлампию. Сказал: — Здесь обращаются ко всем рабочим города, поэтому, если из рук в руки будете передавать, добавляйте на словах.

— Мало, — сказал Дерин, взвешивая на ладони свою долю. — Разбросать бы не только по каморкам, а и в фабрике.

— Будут еще. Марья Ивановна обещала дать сколько нужно.

— Какая из себя Марья Ивановна? — заинтересовался Евлампий.

— Не поверишь: щуплая, смотреть не на что. Одни глаза — крупные, яркие. И одета просто: будто фабричная бабочка. Но, видать, умна. Каждое слово ухом принимаешь.

— Ухом — не сердцем, влетит и вылетит.
— Сказал не так, чего придираешься?
— Ну вот и обиды, — усмехнулся Евлампий, тщательно упрятывая за пазуху листовки. — Скажи-ка, верно — сестрица нашего директора социалистка?

— Этого я не знаю, — резко ответил Федор. Пренебрежительный тон Евлампия задел за живое. — Одно известно, что и ты, и Василий... все мы обязаны ей. Не вмешайся она, кто принял бы нас на фабрику?

— Да я же спроста, — смутился Евлампий, не догадываясь, почему Федор вскинулся на него. — Я к Варваре Флегонтовне всей душой. К тому говорю: чудны дела твои, господи. Братец фабриканту прислуживает, готов из кожи лезть, сестра против того же фабриканта, а значит, и против своего брата...

— Ну и дай ей бог здоровья, — примирительно сказал Дерин.

— Я вот еще о чем думаю, — не унимался Евлампий. — Почему Андрюха Фомичев выпущен из тюрьмы раньше нас, а теперь его старшим рабочим поставили? Иван Митрохин как-то жалобился: «Все навыворот стало. Раньше-то как ты ни бейся, а если бороды не отрастил, не быть старшим. Нынче молокососов за темные заслуги отличают». Это он об Андрюхе Фомичеве, о его будто бы темных заслугах. Вот и скажи, кому Андрюха обязан?

Дерин досадливо поморщился. Знал он за Евлампием слабость: никогда доброго слова не скажет о другом человеке.

— Тебе все чудится. Фомичев — мастеровой, каких мало. Почему бы его не поставить старшим? А выпустили раньше, так знают: песельник, хвастун, в стакну полез по оплошке.

— Не верится что-то, сумнительно... Я тоже по оплошке попал, да отсиживал с вами полностью. Ты как скажешь, Федор?

— В плохом Андрея подозревать нечего, — ответил Федор. — Что отошел он от нас, в этом, может, мы сами виноваты.

— Будешь виноват: встретишь его на улице, а он, как от чумного, на другую сторону бежит.

Федор снова полез в щель между стеной и печью, достал несколько тетрадных листков, свернутых вчетверо.

— Тут все прописано, что надо делать. На всех не хватит, пусть передают друг другу, запоминают.

Евлампий глянул на крупный почерк, ухмыльнулся.

— Похоже Артем старался. Буквы одинакие, как в тетрадке.

— Крупно-то написано — скорей поймут... Особенно надо запомнить, чтобы каждый при случае указывал рабочим на их бедность, объяснял, что бедность эта от жадности хозяев и администрации фабрики. Последнюю копейку норовят урвать. А как почувствуешь, что понял человек, тут ему дальше: такая несправедливость получается из-за плохого государственного устройства. Причина их нужды в правительстве вместе с царем, они лишили рабочего человека всех прав. И, мол, если не будем бороться за свои права, лучшей доли нам не видать.

— Оно все так, — в раздумье проговорил Евлампий, — только не каждому скажешь. Другому заикнешься, он тебе по шапке смажет да еще стащит куда следует.

— И поделом, — усмехнулся Дерин, — будешь знать, с кем разговоры вести.

Федор вдруг предостерегающе поднял руку. Прислушались.

— Показалось, царапается кто-то, — пояснил он.

В самом деле послышался робкий стук. Федор пошел открывать.

Через порог ступила Марфуша Оладейникова. В душной с запахом плесени комнате повеяло уличной свежестью.

— Крадется как мышь, — с усмешкой сказал Федор, прикрывая за ней дверь. — Или постучать, как люди, не можешь?

Дерин и Колесников переглянулись, налили по стакану водки, выпили и подозрительно спешно стали одеваться. Евлампий плутовато поглядывал то на Федора, то на Марфушу.

Марфуша все еще стояла у порога. Была она в бархатной жакетке, в теплом платке и валенках. Развязала платок, спустила на плечи. Взгляд ее мельком скользил по комнате — впервые была здесь.

— Всего тебе доброго, Федор Степанович, — церемонно попрощался Дерин. — Как наказал, все исполним.

Голос вполне серьезный, а в глазах тоже вроде усмешка. Федор пощипывал бородку, злился. Метнул сердитый взгляд на Марфушу, неохотно пригласил:

— Садись. Выкладывай, зачем пришла?

Марфуша не торопилась отвечать. Отступила от двери, давая дорогу Дерину и Колесникову. Те вышли. И только тогда дерзко глянула на Федора.

— Нельзя уж и прийти? — спросила с вызовом. — Я, может, за советом...

Шагнула вплотную, губы полуоткрыты, глаза влажные, зовущие. Федор отступил в замешательстве, сел к столу, стараясь не смотреть на нее.

— Ты и сама любому насоветуешь. Говори уж прямо, чего задумала?

— Фабрика опостылела, — с притворным вздохом сказала Марфуша, — вот и не знаю, что делать, не к тебе ли в прислуги наняться. Видела вчера: вырядился — не подойти, как конторщик какой... Хотела окликнуть, да обрёбела.

— Мели, мели, — поощрил Федор, впервые улыбнувшись ей.

— Смеется, идол, — ворчливо сказала Марфуша, лаская его взглядом. Присела на табуретку, опустила руки на колени, посеръезнела. — Я, может, в самом деле за советом пришла... На свадьбу скоро приглашать буду. Родион торопит, говорит, чего тянут...

Федор потер лоб, вспоминая.

— Это что, за фанагорийца? Как же, за солдата?

— Эва, хватился, он уже второй год в чесальном работает. Кончилась его служба. В деревню не поехал, остался тут.

— Приду поздравить.

— Только-то! — воскликнула она и покраснела от обиды, от его черствого «приду поздравить». Но тут же постаралась скрыть свои чувства, беззаботно усмехнулась. — А я шла, думала, приласкаешь. Небось, уже не испортишь...

— Напоминай теперь при каждом случае, — буркнул он.

Может, и любил бы ее, не войди в сердце другая. А как объяснишь?

— Не пугайся. — Марфуша нервно засмеялась. — Просто в голову приходит дурость. Что, думаю, будет... Сделай сейчас по-моему, видеть тебя не могла бы. Наверно, довольнешенъка была бы, а прокляла. И себя прокляла бы... Ты не падкий. За это, может, и люблю... О чемь здесь с мужиками шептался?

— Да выпили маленько.

— Говори. Так оно и видно, что ради выпивки собрались. Может, и я в чем помогу?..

— Артем у вас?

— Видела в каморках. Наверно, у Дериных. К нам-то и не заходит теперь, большой, стесняется... Ты не увиливай, я серьезно. Могу, наверно, что-то делать?

— Ладно, коли серьезно. Когда нужно будет, скажем.

Марфуша ушла, и он вздохнул с облегчением.

В каморке у Дериных собрались подростки. Был тут Васька Работнов — увалень, который, казалось, рос больше в ширину. Его круглое тупоносое лицо всегда было заспанным. Рядом сидела Лелька Соловьева — непоседа и болтушка, с острыми плечиками, с косичками вразлет. Третий — Артем Крутов, с крупными темными глазами и удлиненными девичьими ресницами, доставшимися ему в наследство от матери.

Все выжидательно сидели, поглядывая на занавеску, делившую каморку на две половины. Впереди у окна жил старший рабочий ткацкой фабрики Топленинов. Сейчас его не было — на работе. За занавеской, на топлениновской половине шуршал бумагами Василий Дерин, отец Егора. Как пришел, молчаливо укрылся от ребячих взоров. Подростки не раскрывали рта, стеснялись взрослого. Сам Егор, ради которого и пришли сюда, — бледный, исхудалый, с испариной на лбу, — лежал в куче тряпья на низком топчане. Уродливым горбом выпирала обвязанная грудь. Друзья только что переложили его поудобнее, и Егор скрипел зубами от еще неутихшей боли, тихонько ругался.

— Вахлак ты, — сказал Ваське, который жалостливо смотрел на него, — ведь не бревно волокаешь, человека живого, мог бы и осторожнее. — Егор моргнул на Лельку, добавил с лаской, силясь улыбнуться: — Вот у кого учись: дотронется — ровно ничегошеньки не болит.

— Знаем, — обидчиво сказал Васька, хотел еще что-то добавить, но опомнился, оглянулся на занавеску — отец Егора все еще шуршал бумагами, негромко напевал: «Мыла Марусенька белые ножки...» — Знаем, — повторил Васька и обиженно нахулся.

А Лелька шмыгнула носом, радуясь похвале.

— У меня руки мягкие, — глупо похвасталась она и показала пальцы с обгрызанными ногтями.

Вторая неделя пошла, как принесли Егора из фабрики. Уж какой год работал в прядилке, ничего не случалось. А тут уморился, прилег за машиной на полу. И нарвался на табельщика Егорычева. Тот не закричал, не растолкал спящего, а велел принести ведро холодной воды. Когда окатили Егора, дернулся он спросонок к машине, — помяло кареткой грудь, веретеном ободрало плечо. Первую неделю провел в больнице. Лечил доктор

Воскресенский, говорил, что еще легко отделался. Теперь дома, отлеживался помаленьку, оживал. Все бы ничего — загрызла тоска собачья. За дверью в коридоре парни шумят, тренькают балалайки. Так бы и вышел, посидел — сил нет подняться. Раньше-то как придет из фабрики — и играть в шары. Человек десять выстроются в одну линию — у каждого шар в свой цвет покрашен. Первый приложивается и закидывает шар ногой как можно дальше. Только успеет шар остановиться, а следующий игрок уже метит в него. Егор любит кидать последним — выбирай любой шар и бей. Попадешь в один — другой рядом. Шар у него не катится, а летит по воздуху — навесом. Из любой ямки выколупнет...

Хорошо после душной фабрики поиграть на свежем воздухе. Да не скоро теперь придется. Лежи и думай, скучай.

Друзья, правда, сколько могут, навещают. Артем после занятий (ходил в фабричное училище) кусок в рот — и сюда. Забежит между сменами Васька Работнов. Лельке спасибо: когда не занята, заглянет к больному. Собеседница, конечно, не ахти — трещит без умолку, слова не вставишь, но и то ладно, хоть ее наслушаешься. Трещат все женщины. Егор сколько раз замечал: собираются в коридоре или на кухне три-четыре и начинают говорить сразу все, не поймешь, как они успевают слышать друг друга. А ведь слышат.

Егор за время болезни капризным стал, но к Лельке относился хорошо. Шел ей пятнадцатый год, вымахала с версту, а тощим-тоща, узкое лицо в рыжих крапинах, шея тонкая — страх глядеть, на чем голова держится. Ничего вроде в ней и нет, а нравилась Егору. От безделья, от болезни приходили к нему шальные мысли. Он-де уже здоровый да сильный, возьмет ее на руки, скажет: «Будь хозяйкой, заживем — лучше некуда». Он добытчик, принесет дачку — на, распоряжайся, покупай, что тебе хочется, не жалко. Зардеется вся, расцветет улыбкой, прilаскает за доброту — сладкая до жути.

— Пшел я, ребятки, — сказал отец, выходя из-за занавески. И Егору: — Мамка спросит, скажешь, чтобы не искала, никаку не денусь.

Отец так и остался в рабочей одежде, а говорил ведь, что переодеваться пришел. Интересно, что за бумаги перебирал он?

— А ты куда все-таки? — спросил Егор.

— Туда, где меня пока нету, — улыбнулся отец. — Выздоравливай скорее, вместе ходить станем.

Он ушел. Проследив за ним, Лелька повела хитрыми, блестящими глазами на Егора.

— На Широкой, — стала рассказывать, — Паучиха разодралась с мужиком. С клюквой пришла и, видно, заняла его место, чтобы торговать. Он ей хлоп, она кричит. Бабкин стоял, все видел и не заступился. Когда Паучиха выла, нарочно за балаган спрятался. Паучиха говорит: нажалуется на Бабкина ихнему начальству.

— Всыпят ей по пятое число, твоей Паучихе, — подытожил Егор. — Вздумала жаловаться на городового.

Он с тоской смотрит в окно. Там клочок серого неба, которое заволакивается копотным дымом из фабричной трубы. Над самым ухом громко сопит Васька Работнов: то ли спит, то ли прислушивается к чему. Артем тоже смотрит немигающим взглядом в окно, думает о чем-то. Не встреча с друзьями, а какая-то игра в молчанку.

— Ворон ловишь? — с обидой сказал Артему. — Что хоть на улице делается? На электрическом трамвае катался?

Последние дни все только и говорили об электрическом трамвае, который пустили в городе. От фабричной слободки до города пять верст. Кто побогаче — извозчика нанимал, а больше — пешим ходом. По сорок-то копеек не наплатишься. А тут за шесть копеек до самой Волги прокатят, да еще как — со звоном, с грохотом.

— Вон Васька рассказывает: извозчика в два счета обгоняет, — продолжал Егор. — Кондуктор, как городовой, в форме. Двое наших будто пристали к нему: «Ах, ты кокарду носишь». И раз, раз по уху... Лютуют наши, злость срывают на ком попало. Вот только маленько поправлюсь, я этому табельщику попомню...

— У нас отец Павел Успенский взял в привычку за волосы таскать, — проговорил Артем, оживляясь. — Хотели директору училища жаловаться. А как? Не принимает. Разбили тогда окно. Спрашивают: «Кто?» Ну кто? Все! Тогда всех к директору и поволокли. Там и стали говорить про злыдню Успенского. Так еще свирепее стал, к каждому пустяку придирается... А поколотить табельщика — засудят.

— А я лета не дождусь, — невпопад сказала Лелька. — Я в деревню хочу к бабушке Сахе. Она у нас здоровее любого мужика, никого не боится. Зимой идет из лесу и воз дров за собой тащит, лошадь не каждая увезет. Она меня любит.

Лелька начинает переплетать жидкие косички. Губами придерживает перекрученную ленточку.

— Скоро уж поднимутся наши, — жарко шепчет Артем. — Все поднимутся. Всем ничто ни почем, не страшно. Обидчики пусть страшатся. Читал я листовку. — Голос у парня совсем стал тихий, только по губам и поймешь, что говорит. — Здорово прописано: если все скопом, ничего со всеми поделать не смогут. Будут наши требовать справедливых законов и чтобы работать не больше восьми часов...

Лелька приоткрыла рот, ленточка упала на колени.

— Неужто, Тёма, согласятся? Боязно-то как!

— Кто не согласится? Хозяин фабрики? Остановят наши машины, выйдут на улицу, попробуй тогда не согласись. В убыток ему, когда наши не работают.

— Тогда опять солдат заставят стрелять и убивать, как моего батяню убили, — вздохнула Лелька.

— Только бы маленько поправиться, — с угрозой повторил Егор.

Старинные часы на подставке в углу коротко пробили четверть девятого. Грязнов отложил ручку, вздохнул. Еще прошел день — смутный, нерадостный. За окном непроглядная темь, даже снег кажется черным. Был бы сейчас в городе у невесты, веселился — не поехал, уверил себя, что нужно скорей заканчивать работу.

А ведь совсем не потому остался — гложет душу неясное беспокойство, не хотелось с таким настроением появляться у будущей супруги.

На столе разбухшая рукопись: описание фабрики с самого зарождения. Страх берет, сколько бумаги исписано.

Вспомнил, с какой неохотой принимался, а потом увлекся, появилась страсть: где мог, выискивал старые изделия с клеймом Большой мануфактуры. Со стороны смотреть, может, и смешно — все стены увешаны скатертями с диковинными птицами, невиданной красоты цветами, городскими видами. Искусные руки и неуемная фантазия нужны были, чтобы так расцветить полотно.

Карзинкин должен быть довольным: его заказ выполнен, живая история фабрики написана. Радоваться бы сейчас, но радости нет. На фабрике опять беспокойно, как в девяносто пятом.

Обида у Алексея Флегонтовича на фабричных. Чего, кажется, надо? Заработок постепенно выравнивается — сколько приходится биться с Карзинкиным за каждые полкопейки! Выстроено училище для детей рабочих. В больничный городок набирается опыта с других фабрик едут. И то сказать, хороший больничный городок, врачи знающие. Чем недовольны? Уж он ли не старается быть справедливым. А уйди сейчас с фабрики, радоваться начнут. При встречах кланяются, а в глазах ненависть лютая. По рукам ходит стихотворение, неумелое, а злое. Каждому служащему дана своя характеристика. Об Алексее Флегонтовиче говорится так: «Непременно помянуть надо директора Грязнова, о себе много мнящего и в нужды наши не входящего». Это он-то не входит в нужды рабочих!

Ну стихотворение — ладно, не беда. А то, что листовки начали появляться, об этом приходится задумываться. Не далее как вчера сторож поднял в курилке одну. Верные люди донесли: Евлампий Колесников похвалялся: «Марья Ивановны подарочек. В скором времени ждите еще». Что еще за Марья Ивановна? Вгорячах было взяли Колесникова и все испортили, уперся: «Не говорил-де такого, поклеп на меня злых людей». Лучше было понаблюдать за ним, все и открылось бы, откуда взялась листовка...

Грязнов занавесил шторой окно, пошел вниз, в столовую. Кухарка Полина, только что вернувшаяся с улицы, — распаренная, потная — сидела за столом, пила чай.

— Что, батюшка, аль поесть собрать? — проговорила, бережно ставя блюдце на стол. — И что вам за нужда дома сидеть, — не дождавшись ответа, продолжала она, подходя к шкафчику и вынимая посуду. — Гуляли бы в свое удовольствие. Метель на улице, а все лучше, чем дома... Студню с хреном да водочки, вот и повеселеешь. Прежний-то управляющий Семен Андреевич страсть как любил студнем закусывать. Налить ли? Все так и оттает в нутрях-то.

Упоминание о бывшем управляющем рассердило Алексея Флегонтовича.

— Не хочу. Чего это ради на ночь водку пить?

— Дело твое, сударь. — Кухарка покачала головой: экий привередливый, ничем не угодишь. Предложила то, что больше

всего не любил прежний управляющий: — Разве сухарничек подать в розовом сиропе?

— Сухарничек поем.

— Эх-ха-ха! — вздохнула с осуждением Полина, отправляясь готовить сухари на розовом сиропе.

Грязнов ел без аппетита, прислушивался к вою ветра в трубе. После уже, лежа в постели, слышал, как пришла Варя. Сегодня случайно заглянул в ее комнату и в книге, небрежно оставленной на столе, увидел нелегальную газету «Искру». Красным карандашом была подчеркнута заметка о волнениях студентов Демидовского юридического лицея. Принесла оттуда, от своих новых знакомых.

Многое становится непонятным. Мог ли подумать, что сестра заинтересуется марксистской литературой. Решил, что надо будет серьезно поговорить с ней, пока не поздно, выбить дурь из головы. Ой, не нравятся ее знакомые из Демидовского лицея. И к фабричным излишне добра. Федор Крутов — любопытный человек, иногда Алексей Флегонтович и сам снисходит до разговора с ним, но всему есть мера. А сестра меры не знает, частенько ее видят с Крутовым. Еще того не хватало, чтобы всерьез увлеклась им. «Завтра же и поговорю», — решил он.

Утром метель улеглась. Хотя солнце и не проглядывало, но было видно, что к полудню разъяснится. Привычно стояли перед крыльцом дома легкие узорные санки. Грязнов выпил чаю, собрался на фабрику.

— Полина, сестра еще не вставала? — спросил кухарку.

— Не велела будить раньше девяти. Поздно пришла вчера.

Грязнов надел шубу, взял из рук Полины шапку, трость. Завидев его на крыльце, кучер Антип резво поспешил навстречу, поклонился низко.

— Доброго здоровьяца, господин директор.

— Здравствуй, здравствуй, — благодушно отозвался Грязнов, с помощью кучера забираясь в возок. — Что хорошего скажешь?

Антип тронул лошадь, медленно поехал по переметенной дорожке к церкви Петра и Павла, высокий тонкий шпиль которой кажется задевал облака.

— Что у нас хорошего? Все хорошее, — уклончиво сказал Антип. — Сегодня вот листки на фабричном дворе собирал вместе с Бабкиным и Коптеловым. Не докладывали?

— Какие листки? — насторожился Грязнов. «Мары Ивановны подарочек, в скором времени ждите еще». Подумал зло: «Ведь не зря бахвалился Колесников, надо было усилить наблюдение. Снова проморгали!» Опять вспомнил, что с Варей надо поговорить не откладывая. Хорошо же он будет выглядеть, если выяснится, что сестра вместе с теми, кто наводняет фабрику листовками.

— Призывные будто, — объяснял Антип. — Неграмотный я, не читал. Бросали-то ночью, под утро, когда метель улеглась. Все свеженькие... Бастовать призывают...

— Скажите на милость, — как можно равнодушнее протянул Грязнов. Ничем не был виноват перед ним кучер, а смотрел в его спину с озлоблением. — Из-за чего бастовать? Или обижены чем? Обиды-то какие?

— Да ведь разобраться, Алексей Флегонтович, как не быть обид, — простодушно стал выкладывать кучер. — Кого штрафом обидели, а кто... И говорить тут нечего: каждый свою обиду выказывает. Марья Паутова ревмя-ревет: в подметалки перевели без причины. А велик ли заработка в подметалках? Прошу прощения, господин директор, но что все в один голос твердят, так то, что раньше легче было работать. С чайником и корзинкой еды, бывало, идут в фабрику — все съедали за долгий-то день. Присучальщица какая скажет: «Взгляни, Дарья, за моей сторонкой, в каморку сбегаю, белье кипит, не перепрело бы». А сейчас нет, на минуту не оторвешься от машины, кусок хлеба некогда проглотить. Порядки, что и говорить, стали другие.

Грязнов внимательно слушал и кривил рот. Выехали на Широкую улицу, в конце которой виднелась квадратная фабричная башня и верхушки дымных труб. По бокам невзрачные домишкы, занесенные снегом по самые окна. Иногда скрипнет калитка — баба с ведрами и коромыслом идет к обледенелому колодцу. Встречались мастеровые, почтительно снимали шапки — он не замечал.

— Порядки стали другие, — сказал вполголоса. — Бабы жалобы, Антип, передаешь. На то она и работа, чтобы порядок был, дисциплина. — Усмехнулся едко: «Взгляни, Дарья, за моей сторонкой...» — Ну, а другие на что жалуются? Неужто все обижены?

— Все не все, а есть. — Антип замешкался, обдумывая, не сказал ли лишнего, обидного для Грязнова. — Серьезней-то кто — злее работать стали...

— Постой, постой! Почему злее работать?

— Да как водится, — туманно объяснил Антип. — Злость утишают в работе...

Грязнов откинулся на сиденье, сузил глаза — взгляд жесткий, презрительный. «А ведь то правда, что злее работают», — пришло на ум. Просматривая по утрам отчеты, видел — поднялась в последние дни выработка. Так было и перед стачкой девяносто пятого года.

«Серьезные-то злее работать стали...» Вздрогнул, избавляясь от неприятных воспоминаний.

— Останови, — приказал кучеру. — Пройдусь до фабрики.

Антип резко натянул вожжи, удивленно оглянулся. Директор выбрался из санок и зашагал, проваливаясь в неутоптанном снегу.

На ходу лучше думается.

6

— Всё? — спросил Грязнов, когда конторщик закопчил обычный утренний доклад.

Как всегда, подтянутый, чисто вымытый и надушенный, Лихачев пожал плечами.

— Приказчик из лабаза тревожится. Насчет солений. Еще при заготовке проба не удовлетворяла. Сейчас много приходится выбрасывать.

— Я-то тут при чем?

— Опытный засольщик был уволен по вашему указанию.

— Взяли бы другого.

— Взяли тогда же. Вчера были открыты пять бочек капусты. Отдали на свинарник.

— Зачем же такого брали, если дела не знает?

Лихачев опять пожал плечами: он не виноват, он только докладывает.

Фабрика на всю зиму заготовляла соленья для продажи рабочим. Долгие годы засольщиком был искусный мастер, но выпивоха. Как на грех, встретился он директору в состоянии

полного одурения. Грязнов, не терпевший пьяниц, велел уволить его. Не думал же, что без этого человека застопорится все дело. Овощей заготовляли для всего двадцати тысячного населения. Сейчас, очевидно, осталась небольшая часть, но и это выбросить — слишком накладно будет. Нерасторопным оказался приказчик, ему и отвечать.

— За порчу взыщите с приказчика, чтоб знал наперед, кого брать.

Конторщик склонил напомаженную голову. Сегодня он очень раздражал Грязнова. Директор сверкнул злым взглядом.

— Можно подумать, что это самое главное, что вы хотели сообщить, — сказал он ядовитым тоном, который заставил побледнеть Лихачева.

— Контора Генневерга ждет решения об эскизе занавеса для фабричного театра, — робко напомнил Лихачев.

— Есть решение. — Грязнов стал рыться в ящике стола. Нашел листок, исписанный мелким почерком, пробежал глазами строчки:

«При сем возвращаем вам рисунок предполагаемого для театра занавеса, который в общем одобрен. Вместо же вида фабрики (в середине) мы предполагаем изобразить в живописном виде с-петербургский известный монумент Петра Великого, который на Сенатской площади, так как Петр Великий был преобразователь России, покровитель фабрик и школ; сам он был на Ярославской мануфактуре, ей покровительствовал — делал даже свои указания, чему пример Петропавловская церковь».

Лихачев убрал письмо в синюю папку.

— Все теперь? — спросил Грязнов.

— Я старался ничего не упустить.

— Плохо старался. О листовках, что на дворе разбросаны, знаете?

— Я полагал, вам известно... Пристав занимается розыском.

— Что-то раньше он не занимался. Допрашивал он Колесникова?

— Не знаю.

— Плохо, что не знаете.

Грязнов вспомнил о просьбе пристава Цыбакина принять на фабрику его людей. Тогда не дал определенного ответа, сейчас знал, что сказать: стоят дорого, а толку мало.

— Свяжите меня с Цыбакиным. Да еще вызовите Фомичева и этого, как его... полезного человека Коптелова.

Ему показалось, что Лихачев усмехнулся. Не в силах сдержаться, взял с угла папку, сильно хлопнул ее на стол, занялся просмотром ежедневного отчета Карзинкину. «Милостивый государь! Сообщаем вам, что с вверенной нам фабрики вчера отгружено товару на 147 тыс. 521 рубль...»

Всегда так начинался отчет, а нынче не понравилось «с вверенной нам фабрики...» Оставил: «Милостивый государь! Вчера отгружено товару...»

— Вот так, — произнес назидательно. — Переписать.

Лихачев, забрав отчет, ушел. Грязнов опустил руки на стол, сидел в раздумье. Чем может кончиться появление листовок? Станут ли рабочие бастовать? Или покричат, как не раз бывало, и все останется по-прежнему.

Вошел хожалый Коптелов — маленький болезненный человек с бегающим взглядом.

Грязнов ожидал в нем развязности, загодя презирал его за это.

Но у Коптелова хватило ума робко остановиться у двери. Может, ожидал нагоняя за листовки на дворе фабрики.

— Говорят о какой-то Марье Ивановне, чуть ли не заступнице обиженных. Знаете ли вы что об этом?

Спросил и вперил взгляд, пронзительный, недобрый. Коптелов судорожно слглотнул слюну, заговорил хрипло:

— Марья Ивановна — выдумка. — Перекрестился быстро на портрет Затрапезнова — основателя фабрики, — который висел над головой директора. — Истинно так. Придумана, чтобы отвести след. Местные социалисты мутят воду.

— Всё?

— Извольте заметить, — заторопился Коптелов, — не надо было принимать на фабрику Крутова. По моим наблюдениям, от него идет смута.

— Это мое дело, кого принимать, — резко ответил Грязнов. — А ваше дело узнать, кто такая Марья Ивановна. Ступайте.

Коптелов задом выскользнул в дверь. Грязнов укорил себя: «Приходится иметь дело с такими ублюдками. И не обойдешься. Цыбакину со всем аппаратом месяц слежки потребуется, а этот пройдоха запросто разнюхает все, что нужно. Однако тот, второй, заставляет себя ждать».

После короткого робкого стука в дверь осторожно заглянул черноволосый, с узким лицом мастеровой. Грязнов приветливо кивнул, пригласил войти. Фомичев старательно закрыл за собой

дверь. На жест директора садиться, махнул стыдливо рукой, остался у порога.

Фомичева вызвали в разгар смены. Поднимаясь по лестнице в кабинет, он мучительно гадал, что его ждет. По работе вины за собой он не чувствовал. Ничем другим разгневать директора не мог. И все-таки отчаянно трусил.

— Я слышал о вас много хорошего, — ласково, как мог, начал Грязнов. — Хотел поближе познакомиться. Заранее скажу, работой вашей мы довольны, можете рассчитывать на прибавку жалованья.

— Спасибо, господин директор. Не знаю, как и благодарить вас.

— Благодарите себя. Честных рабочих мы стараемся отличать. Как у вас дома? Живете в каморках? В каком корпусе?

— В третьем, господин директор. Занимаю перед. Женился недавно. О своем доме подумываю.

Фомичев отвечал с готовностью, а на душе кошки скребли. Хотя по началу разговора страшного ничего не предвиделось.

— Хорошее дело жениться, — благодушно отозвался Грязнов. Привалился к спинке кресла, забросив ногу на ногу, разнеженно наигрывал пальцами на кожаном подлокотнике. — Я вот никак не удосужился. Все не получается. Так, глядишь, холостяком и кончишь...

Фомичев осторожно откашлялся в кулак.

— За вас каждая с радостью, только захотеть.

— Видимо, не очень хочу... Степенному мастеровому нужен свой дом. В кабинете ссуду на строительство возьмите. Скажете, с моего разрешения.

Грязнов встал из-за стола, прошел к окну. На той стороне площади у Белого корпуса стояла нищенка, тянула руку к прохожим. Рядом мальчионка лет восьми, съежился, замерз. Прохожие шли мимо, не задерживаясь. Нищенка упорно тянула руку, что-то говорила. Издалека лицо ее казалось молодым, но только очень усталым. Грязнов вдруг почувствовал, что тоже устал. Остро захотелось уйти от всех дел, забыть тревоги. А куда пойдешь? Фабрика связала по рукам и ногам. Глядя на нищенку, подумал, что у каждого своя судьба. Вот пройдет сердобольный человек, бросит ей монету. Она накормит мальчишку, обогреется, и сон ей придет крепкий. До завтрашнего утра будет чувствовать себя счастливой. А у него все есть, но нет того, что называется счастьем.

Вдруг устыдился своих чувств, усмехнулся презрительно:
«Нервы сдают. Старость, что ли, идет?»

Повернулся к Фомичеву:

— С прежними приятелями дружбу растеряли? Все, поди, возле молодой?

Фомичев побледнел. Мелькнуло: «Конечно, вызвал из-за этих несчастных листовок. Подозревает». Честно округлил глаза, сказал твердо:

— Я, господин директор, оборвал все сношения с ними. Хватит, пошалил в молодости.

Поспешный ответ Фомичева и бледность его лица удивили Грязнова: «Ишь, как напуган».

— Как раз за это я вас не хвалю, — с притворной грустью упрекнул он. — Крутов — дальний мастеровой, умница, компанию с ним водить интересно. Сейчас он вне подозрений. В ином случае, кто бы его на фабрику взял? Что недовольство в нем некоторыми порядками, так это каждому мыслящему человеку присуще. Страйтесь с ним дружить, — закончил он тоном приказа.

— Слушаю, господин директор.

— От вашей дружбы нам будет общая польза. Плохо, когда не знаешь, что думают фабричные... Жалованье вам увеличат со следующей недели. Время от времени буду вас вызывать. Вам что-нибудь непонятно?

— Понятно, господин директор, — краснея, сказал Фомичев. Помялся и просительно добавил: — Только вызывайте, когда есть на то причина, чтобы не было подозрительно.

— Об этом не беспокойтесь. Причина всегда найдется.

Выпроводив Фомичева, Грязнов тут же позвонил. Появившемуся конторщику сказал:

— Что Цыбакин, на месте? Я просил соединить меня с ним.

— Он здесь, ждет, когда освободитесь.

— Зови.

Косолапо вошел пристав, грузно опустился на стул. Смотрел сумрачно, недовольно.

— Чем порадуете, слуга государев? — с усмешкой спросил Грязнов.

Цыбакин поднял кустистые брови, вроде бы удивился вопросу.

— Пожалуй, порадую, — глухо проговорил он. — Листовки разбросаны и в железнодорожных мастерских. Поступило еще

сообщение, что ночной сторож Соколов нашел такие же близ табачной фабрики Дунаева. Даже схватил было человека, бросавшего их, но тот вырвался и убежал. Действует широкая организация, и название ее «Северный рабочий союз». Скажу больше, влияние этого «Союза» распространяется на соседние губернии, в частности на Иваново-Вознесенск и Кострому. Есть о чем задуматься, Алексей Флегонович.

— Надеюсь, социалисты не свили гнезда у нас на фабрике?

— Боже упаси! Тем не менее какая-то связь с этой организацией существует. Не посторонний же занес сюда листовки!

— А почему бы и нет? Листовки-то разбросаны во дворе, а не в фабрике?

— Так-то думать и легче и приятнее, дорогой Алексей Флегонович. Однако же слова Колесникова — не пустое бахвальство.

— Вы серьезно верите в существование Марьи Ивановны? — спросил Грязнов.

— Как в себя. Даже представлять ее начинаю. Сухая, желчная, эта какая, понимаете ли, мегера.

— М-да... С вами весело... Что же все-таки будем делать?

— Пока будем вести наблюдение, авось господь бог поможет, обнаружим смутьянов. Колесникова я распорядился отпустить. Негласный досмотр за ним установлен. Не смею советовать, но надо бы предупредить служащих, чтобы пока помягче были, не будоражили напрасно людей.

— Думаете, может вспыхнуть забастовка?

Цыбакин неопределенно пожал плечами.

— Хорошо, я предупрежу служащих. Только прошу постоянно сообщать мне о результатах ваших наблюдений.

— Сочту за честь, Алексей Флегонович.

ГЛАВА ВТОРАЯ



1

Бегали носильщики, слышались возгласы и поцелуи встречающих. Перрон быстро пустел. Последним вошел в вокзал розовощекий, упитанный пассажир в светлом пальто и серой мягкой шляпе.

С утренним московским поездом, на котором он приехал, его никто не встречал. Но по лицу пассажира было видно, что он и не огорчен этим. Стоявшему у двери станционному жандарму подмигнул дружески и тот (кто знает, может, приехавший — из начальства) козырнул в ответ.

В буфете пассажир вкусно позавтракал, выпил рюмку коньяку. В прекраснейшем расположении духа вышел на привокзальную площадь. Извозчики, стоявшие в ряд, стали наперебой

приглашать его: «Эх, барин, прокачу! С ветерком не изволите ли, много довольны останетесь».

Весеннее утро было ласковым, струились ручьи по мостовой. Благодать в такое утро прокатиться на извозчике!

Пассажир неторопливо оглядывался. Почему-то сел к такому, что жался в сторонке.

— Красив ваш город, — сказал, когда выехали с площади. Широкая дорога нырнула под железнодорожную арку, за которой стояли дома, каменные, добродетельные. Вдали, за мостом через Которосль, сверкали на солнце маковки церквей, белел высокими стенами Спасский монастырь.

— Хорош, хорош город, — повторил пассажир, расстегивая пальто и распахивая его: весеннее солнышко припекало.

— Да как все города: есть кусок хлеба, крыша над головой — вот и хорош, — отвечал извозчик. Был он заморенный, на скучном морщинистом лице лежал отпечаток вечной нужды.

Улица внезапно кончилась. Лошадь зацокала подковами по булыжнику высокой дамбы. С обеих сторон к насыпи подступала вода. Слева ее было целое море, и русло реки уггадывалось только по льдинам, несущим на себе обгорелые кусты, ломаные корзины, клочки соломы.

Подъехали к мосту. У железных перил стоял человек в опорках на босу ногу, в отрепье, безмятежно плевал вниз, стараясь попадать в льдины, жмурился на солнце.

Услышав стук колес, скользнул пустым взглядом по проезжающим.

— Вот счастливый человек, — завистливо вздохнул пассажир. — Дитя природы...

— Зимогор, — пояснил извозчик. — Много их на улицах бродит. Зиму прогоревал, теперь что... радуется.

— Никакой заботы, — продолжал пассажир. — Эх, все бросил бы да вот так же... Живут ведь, и ничего не ищут.

— Живут, все живут. Куда доставить-то, господин хороший.

— Где будет Веревочный пролом, там и ссадишь. В переулок-то не вези, сам дойду.

Остановились у торговых рядов. Пассажир расплатился. Старателльно перешагивая лужи, чтобы не запачкать штиблеты с сверкающими галошами, направился по рядам.

Здесь его встретила обычная торговая сутолока: плотные толпы покупателей, предупреждающие окрики возчиков, толкающих перед собой тележки с товаром. На прилавках, на вы-

ставленных шестах лежат и висят сукна тонкие, ситцы всех расцветок, шелка азиатские — бери что душе угодно. Надрываются от дверей лавок зазывалы:

— Ай, купец, сукнецо к лицу! Зайди, подберем.

— Не надо, — отмахивается добродушно приезжий. — Перерайской птицы купил бы. Есть ли?

— Такого товару не держим. Спросу нет.

— Напрасно. Мог дать большие деньги.

Отшучивается приезжий гость, трется в толпе зевак и слушает, о чем говорят. Есть чего послушать. Толстая баба со связкой бубликов на шее размахивает руками:

— Кум мой в дворовой конторе при Большой мануфактуре служит, у Карзинкиных, значит. Слава богу, жалованье приличное, не обижается. Начал дом строить на Лесной улице. А теперь и боится. — Баба задохнулась, смотрит страшно. — Лицеисты, вишь, на фабрике объявились, подговаривают всех бросать работу, а кто не будет слушаться, убивать начнут...

— Что лицеисты! — зло брюзжит старик в потертом чиновничьем сюртучишке, с волосами длинными и сальными — из тех канцелярских крыс, что за двадцать пять рублей горбятся над столами. — Лицеистов за провинности в солдаты, стало быть, отдавать начали. Противятся, стало быть. Хуже, когда, глядя на них, гимназисты озорничают. Бросили учиться, речи, знаете ли, произносят, подают петиции начальству. — Торжествующим взглядом обвел собравшихся, договорил радостно: — Приладились песни петь, каких иные, дожив до седых волос, не слыхивали. На днях, стало быть, по Власьевской шли и пели, призывая подняться рабочий народ. Публика взирает добродушно, помалкивает. И городовых, будто нарочно, нету. Свернули к почтовой станции и тут, стало быть, нарвались на мужиков — приказчиков мясной лавки. Мужички (только так и надо!) рявкнули: «Как поете, так и сделаем: встанем и подынемся!» Пришлось сорванцам улепетывать.

Засмеялся мелко, дребезжаще, ощерив неровные зубы.

В толпе покачивают головами, вздыхают. Молодые! Глупы еще, да и сплы девять некуда, вот и забавляются. А сказать правду, и взрослые туда же. Напротив центральных башен Оловянинникова — пивная господина Адамца. Служащие проработали восемь часов и ушли, отказавшись обслуживать посетителей. Скандал! Штурвальный с парохода «Дельфин» подстрекал к забастовке рабочих крахмало-паточного завода, что у Большого

ших Солей. И вышло! Остановили завод. А кому убыток? Им самим и владельцу завода Никите Понизовкину. А начальник железнодорожных мастерских Рамберг отчудил: отдал приказ, чтобы вновь поступающие рабочие не делали подношения мастерам. Всегда новички давали им известную сумму на пропой — на клепку, как у них называют. А Рамберг самолично запретил. Будут ли мастера довольны начальством!

«Господи! — удивляется приезжий. — Времена-то какие пошли! Все бунтуют, что-то ищут, добиваются. Не оттого ли, что распущенность повсюду?»

Народу все подваливает. Хлюпает под ногами жидккая грязь. Охотники до забав тянутся к парусиновой палатке. На барьере в железной тарелке лежит тряпичный мяч, а на задней стене палатки нарисована красная рожа с вывалившимся языком. Попадешь мячом по языку, рожа захлопает глазами, заплачет — значит получай тогда гребенку или десяток красивых пуговиц, не попадешь — пропал пятак.

Приезжий остановился возле молоденьких барышень. Говорят о каком-то Тельтовте из уездного города Данилова, который сочинил патриотическую кантату «Русская молитва» и теперь собирается это музыкальное произведение преподнести в дар самому государю императору.

«Нашелся-таки один верноподданный! Молодец Тельтовт! Фамилия-то какая! Наверно, из немцев».

Приезжий шагал к Мытному рынку. В узком переулке, похожем на каменный мешок, было сумрачно, грязно. Возле стен, куда почти не попадает солнце, — серый поздреватый снег. Пахло мокрым бельем, гнилью. Остановился, зябко поежился, поискал глазами нужный дом.

Дверь ему открыл высокий седой старик в белом мятом халате, очки подняты на лоб, — не иначе аптекарь. Щурясь, оглядел гостя.

— Хороший денек, дедушка! — бодро сказал приезжий.

— Что? — переспросил тот, приставив ладонь к уху. — К кому пожаловал-то?

— Ты, оказывается, плохо слышишь, дед. С добрым утром, говорю. Марью Ивановну хочу видеть. Издалека к ней приехал.

— Не знаем таких, — постно сказал старик и собрался закрыть дверь.

— Э, подожди! — Испуг мелькнул на полном лице гостя. — Адрес у меня самый точный. Дом этот. Веди к Марье Ивановне.

Старик смотрел на него и будто оценивал, стоит ли продолжать разговор.

— Это что же за Марья Ивановна? — безразлично спросил он. — Может, учителька, которая квартировала тут?

— Наконец-то! Именно учительница, — весело поддакнул приезжий и осекся — опомнился. — Почему квартировала? Разве ее нету?

— Так и нету. Съехала, и не знаю куда.

— Смотри ты! — растерялся приезжий. — Давно ли?

— Тому месяц, как съехала.

Приезжий шумно вздохнул, повеселел.

— Обманываешь меня, дед. Неделю назад от нее весточку получили. Здесь жила. Веди, не томи. Говорю тебе, издалека ехал.

Старик смотрел все с тем же недоверием, пожевал сухими губами. Сказал наконец:

— Так и быть, узнаю, куда съехала. Зайди завтра к вечерку. Как сказать, если найду ее? Кто будешь-то?

— Иван Алексеевич, передашь. Об остальном после... А может, сегодня зайду попозднее? Времени у меня мало.

— Что без толку ходить. Завтра только узнаю.

Приезжий покачал головой, укорил:

— Сердитый ты, дед, неприветливый. Ну да ладно, погуляю. У вас тут бойко торгуют. Весенняя ярмарка, что ли?

— Ярмарка, ярмарка, — подтвердил старик.

«Подозрительный папаша, — подумал приезжий, когда перед самым носом захлопнулась дверь и щелкнула задвижка. — Вид мой разве не понравился? А что вид? — Провел по бокам пухлыми ладошками сверху вниз. — Вид какой надо».

Торопиться некуда: до следующего дня где-то надо быть. Пошел людными улицами к Волге. На Стрелке, где Которосль сливается с Волгой, высился белыми колоннами Демидовский юридический лицей. Возле парадной двери стояла толпа зевак. Напротив из садика доносились ребячьи голоса.

Там кого-то ловили, кричали истошно: «Забегай, в кусту спрятался!»

Парадная двустворчатая дверь открылась, вышел сначала солдат с винтовкой в руке, следом один за другим запагали через порог студенты. Еще двое солдат замкнули группу. Один из студентов с длинными черными волосами, бледным лицом, тонко крикнул:

— Не имеете права! Это произвол!

«Покричи вот теперь, — добродушно подумал приезжий. — В кутузке бунтарство быстро повышибут».

Первый солдат равнодушно шагал в сторону Спасских казарм. Задние подталкивали студентов прикладами.

Но больше как через минуту точно такая же группа снова вышла из подъезда лицея. Очевидно, там что-то случилось. Приезжий попытался мимоходом заглянуть в окно. Сзади озабоченно спросили:

— Ничего не видно?

Рядом остановилась светловолосая барышня, тянулась на носках, стараясь разглядеть, что делается внутри помещения. Рукой она прижимала к груди букетик ландышей.

— А вы кого ждете? — поинтересовался приезжий.

Она искоса глянула на него и ничего не ответила.

«Дружка, конечно, ждет, — решил приезжий. — Ну пожди, пожди, может, и его выведут».

Побрел на набережную. Стоял, прислонившись к чугунной решетке, рассеянно глядел на единственную лодку, вилявшую среди льдин. Два мужика вылавливали плывущие дрова. Иногда лед шел густо и тогда казалось, что лодка перевернется, будет раздавлена. Но, орудуя баграми, смельчаки снова выбирались в безопасное место. Приезжему подумалось, что в его жизни тоже часты столкновения с опасностью, и он вот так же ловко умеет выходить сухим из воды.

Спустя полчаса он был на телеграфе, где набросал телеграмму:

«Ратаеву. Явился куда следует сегодня утром. Но девицы моей не оказалось. Назначил свидание на завтра. Уведомить о результатах смогу только вернувшись в Москву. А пока оставлю вашим всепокорнейшим слугою. Меньщиков».

2

Закрыв дверь перед носом приезжего, старый аптекарь встревоженно постучал в дощатую стену боковушки.

— Заходите, Петр Андреевич! В чем дело? — раздался оттуда звонкий голос.

— Пожаловал гость, — сообщил аптекарь, появляясь на по-

роге. — Ваш гость, Марья Ивановна. Так уж извините, отослал его до следующего дня.

Говорил он женщине, которая сидела на диване и торопливо писала, склонившись над маленьким низким столиком. Она подняла на него крупные серые глаза, светившиеся усталостью и добротой. На вид ей было лет тридцать. Прямые волосы, зачесанные назад и заколотые гребенкой, открывали несколько увеличенный лоб.

— Я вас не понимаю, — с недоумением сказала она. Если бы не тревога на лице старого человека, она решила бы, что он шутит. — Почему вы так сделали? Если это мой гость, наш товарищ, зачем его подвергать опасности? Где-то надо пробыть до завтрашнего дня?

— А если это не наш товарищ? — ответил вопросом аптекарь. — Посчитал за лучшее посоветоваться с вами. Уж больно развязен и смел. Говорит, что ехал издалека.

Аптекарь присел рядом с ней на диван, заглядывая в глаза, продолжал настойчиво:

— Поверьте чутью старого человека. Я всегда доверяю своему первому впечатлению. Как другие заранее предугадывают ненастье, так я почему-то, глядя на этого гостя, почуял беду... Придет скоро племянница. В крайнем случае можно выдать ее за вас. Доверьте мне встречу этого посыльного. Он очень подозрителен. А вам нельзя рисковать.

— Глупости, Петр Андреевич, — подумав, возразила она. — Да и Машеньку подвергать опасности стоит ли? Я как раз жду товарища из Воронежа... Он с грузом?

— Как на прогулке. Пуст.

— Груз, если какой был, мог оставить на станции. И не преувеличивайте, пожалуйста. За вами это водится.

Увидев, что аптекарь обиженно нахмутился, добавила мягче:

— На всякий случай примем меры предосторожности. Остакт листовок надо переправить Миронычу и сообщить, чтобы в эти дни никто не заходил сюда.

— Да ведь как знаете, Ольга Афанасьевна, — сказал он, поднимаясь и собираясь выйти. — Не мне вас учить.

Она вздрогнула, пытливо присматриваясь к нему. Давно уже ее не называли настоящим именем. Было время, когда она так же вздрагивала, если к ней обращались как к Марье Ивановне. Потом привыкла. Свое настоящее имя потускнело, затерялось в памяти.

Шаркая ногами, аптекарь вышел. Ольга Афанасьевна не остановила его. Она прекрасно понимала, что его предостережение шло от добрых чувств, от желания обезопасить ее, но согласиться с ним не могла: на целые сутки отослать приезжего, у которого, видимо, нет здесь ни знакомых, ни другого адреса, и все только потому, что внешность человека показалась подозрительной, — поступок более чем поспешный. «Милый Петр Андреевич, — подумала с улыбкой, — знал бы ты, как я жду посыльного».

Она попыталась сосредоточиться и снова заняться работой, но разговор с аптекарем разволновал ее, ничто не шло на ум. В старом зеркале над туалетным столиком отражалось ее задумчивое с морщинками у глаз лицо. Взгляд упал на инкрустированную пудреницу — память об уфимской ссылке. Купила ее у кустаря — бородача цыгана — за очень сходную цену и с тех пор всюду возила с собой. Всплыли в памяти горбатые улочки Уфы, встречи с товарищами по ссылке... Метельный февральский вечер. Она идет по указанному адресу. Ледяной ветер пронизывает до костей. В квартире местного социал-демократа уже полно народу. Отогревая окоченевшие руки, она присматривалась к людям. Многих раньше видела, но были и незнакомые. В тот вечер выступал Ленин, который попал в Уфу проездом из ссылки. Говорил он о необходимости издания политической газеты и о построении партии.

В конце того же года в Лейпциге вышел первый номер «Искры». Когда газета попала в Россию, получила ее и Ольга Афанасьевна Варенцова. В то время она жила в Воронеже. Кончался срок надзора, надо было думать, куда уезжать. Ее тянуло на родину, в Иваново-Вознесенск. В центральных губерниях было много рабочих кружков, но все они действовали разрозненно. Там, в Воронеже, появилась мысль объединить их в одну организацию. Назвали ее «Северным рабочим союзом».

Ольга Афанасьевна под именем Мары Ивановны приехала в Ярославль. Работать здесь оказалось неожиданно трудно. Можно было легко найти конспиративную квартиру, интеллигенция охотно помогала средствами, но зато сыск был организован на славу: местные социал-демократы находились под бдительным надзором полиции.

Ей все-таки удалось наладить связь с рабочими крупных предприятий. А когда была приобретена типография, в городе стали появляться листовки. Сообщения из Ярославля Ольга

Афанасьевна регулярно отправляла в «Искру». Туда же на просмотр Ленину была послана программа «Северного союза». Ответ Варенцова ждала со дня на день. Надо думать, как обращало ее известие о приезде человека. И чем больше она размышляла о встрече с ним, тем необоснованнее казались подозрения старого аптекаря.

Думая обо всем этом, она все же собирала документы и книги, которые при внезапном обыске могли заинтересовать полицию. Пусть тревога окажется напрасной, но лучше быть ко всему готовой.

В половине третьего (она невольно взглянула на часы) послышался стук в наружную дверь, по лестнице затопали сапоги. Застигнутая врасплох, она вдруг заметалась, подыскивая место для связки книг. И только молодые голоса и смех в прихожей остановили ее. Ольга Афанасьевна бессильно опустилась на стул.

— Пришел Мироныч, Марья Ивановна, — окликнул ее аптекарь.

Она взглянула в зеркало. Лицо было бледно, губы подрагивали. Сказывалось напряжение последних месяцев.

— Пусть идет сюда.

Вошла Машенька, тоненькая высокая девушка, племянница старого аптекаря. В руке маленький букетик ландышей, а уже за нею Мироныч — плечистый, голубоглазый. Были оживлены, успели загореть на весеннем солнце. Поглядывая друг на друга, с трудом сдерживались, чтобы не смеяться, не озорничать. Трудней всего было сохранять серьезность Машеньке. Едва взглядала на Мироныча, как лицо начинало пунцоветь, хорошенький ротик независимо от ее воли раскрывался в улыбке. Рассеянно теребила пальцами газовый шарф, который прикрывал красивую белую шею.

— Случилось что? — вдруг спросил Мироныч.

— Голова побаливает. — Ольга Афанасьевна провела рукой по глазам. — С Петром Андреевичем немного повздорили... Откуда вы такие веселые?

— Из лицея. Наслушались речей... Чего вам было делить?

— Да так, из-за пустяка не поладили... Какую шутку выкинули лицеисты на этот раз? Опять писали протест?

— Было и это.

Мироныч положил большие руки на стол, участливо посматривая на Ольгу Афанасьевну, стал рассказывать.

Сегодня в актовом зале собирались студенты и преподаватели лицея. Инспектор Половцев уговаривал приступить к занятиям. Говорил, что у некоторых африканских племен есть странный обычай: обиженный убивает себя перед домом обидчика. Считает, что мстит ему: обидчик, мол, теперь всю жизнь будет чувствовать угрызения совести. Хорошо, если у того есть совесть... Студенты, бросив учиться, уподобились обиженному мстителю, они убивают самих себя, так как знания нужны не кому-нибудь, а им самим. Эта образная речь инспектора вызвала оживление. Выходило, что у правительства нет совести.

В выступлениях других наставников чувствовалось понимание студентов.

Профессор Шмидт рассказывал о нелепом положении преподавателей:

— Если ты человек без дарования и делаешь худо свое дело — тебя выгоняют за неспособность, если ты человек с дарованием и делаешь свое дело хорошо — тебя выгоняют за то, что ты человек способный, следовательно — опасный. Наука бледнеет и прячется, невежество возводится в систему.

Лицейсты качали профессора и кричали: «Браво, Шмидт».

Под конец вспомнили ненавистного профессора Гурлянда, который после студенческого бойкота был уволен из лицея и сейчас служил в Тверской земской управе. Составили телеграмму Гурлянду:

«Чествую истинных деятелей науки, презрением вспоминаем профессора-карьериста, позор лицея, правую руку тайной канцелярии. Кончив ревизию, переводитесь в Третье отделение».

Лицейсты хотели было выйти на улицу и пройтись с песнями по городу. Тогда инспектор вызвал из Спасских казарм солдат. Самых неспокойных отправили под конвоем, однако их скоро отпустили, и они вернулись в лицей героями.

Во время рассказа Ольга Афанасьевна сидела все с той же озабоченностью на лице, и Миронычу было не по себе. А она действительно пыталась слушать и не могла — мысль все время возвращалась к тому, что за человек добивался встречи с ней, где он может сейчас находиться.

— Дальше что было? — рассеянно спросила она, не заметив того, что Мироныч сказал все, что хотел.

— Что-то все-таки у вас случилось, — отозвался он. Потом крикнул аптекарю: — Петр Андреевич, чем вы обидели Марью Ивановну?

— Ума не приложу, — заявил старик, появляясь в дверях. — Разве вот гостя встретил неприветливо. Гость добивался ее, а я приревновал, не пустил.

Мироныч и Машенька с живейшим интересом уставились на Ольгу Афанасьевну. Она пояснила:

— Гость в самом деле был, и, как говорит Петр Андреевич, неприятный. Хотя еще ничего неизвестно. Тебе, Мироныч, следует сегодня же забрать оставшиеся листовки. Сюда ни ногой.

— Предлагал я, чтобы встретила его Машенька, — сказал аптекарь, осуждающе поглядывая на Ольгу Афанасьевну. — Тоже домашняя учительница, тоже Марья, жила здесь еще месяц назад, о чем я и говорил ему. Но вот не соглашается.

Машенька покраснела, сказала горячо:

— Отчего вы решили, что я не сумею?

— Знаю, что сумеешь встретить, — любуясь ею, ответила Ольга Афанасьевна. — Потому-то и не соглашаюсь, неприятностей не хочу для тебя. К тому же, что это не наш товарищ, — всего только предположение Петра Андреевича. Я больше беспокоюсь о том, где он проведет эти сутки.

— Я бы на вашем месте о нем не беспокоился, — жестко сказал аптекарь.

На звонок Варенцова открыла сама. На пороге стоял тучный господин — крупный нос, мясистые губы человека, любящего плотно поесть. Старый аптекарь прав: гость не внушил доверия.

— Не иначе это вы, — начал он бодро.

— Да, это я, — насмешливо отозвалась Ольга Афанасьевна.

— Позвольте спросить, «Воскресение» Толстого есть?

Варенцова почувствовала облегчение: назван пароль, существующий для связи руководителей «Союза».

— «Воскресения» Толстого нет. Есть «Дурные пастыри» Мирбо.

— Иван Алексеевич, — назвался гость, протянув пухлую руку.

Пригласив его в комнату, Ольга Афанасьевна услышала, что он прислан из центра, ему необходимо ознакомиться с работой в Ярославле. Варенцову не удивило это сообщение — такая проверка могла быть. Гость сказал, что долго задерживаться в городе не может, сейчас он намерен послушать, что сделано, а

потом, если это возможно, неплохо бы свести его с активными членами местной организации, чтобы полнее было впечатление.

Не было ничего неестественного и в этой просьбе. Они проговорили около трех часов. За окном, которое выходило на крышу пристройки, начало смеркаться, багровел край закатного неба. От чая гость решительно отказался и уверил, что документы у него надежные, поэтому он и нынешнюю ночь проведет в гостинице. Ольга Афанасьевна провожала его до выхода.

На пороге он не удержался, сказал:

— Чувствую, что дело у вас не очень законспирировано, Марья Ивановна. Если так пойдет и дальше, вы провалитесь!

Варенцова вглядывалась в него с искренним недоумением. И тогда он спешно поправился:

— Со стороны, может, преувеличиваю. Все может быть. По крайней мере, результатами я доволен...

В темноте он не видел бледности, разлившейся по лицу Варенцовой.

Приезжий гость не пошел в гостиницу, поплутал по улицам, а после направился в городское жандармское управление. В тот же вечер в Москву полетела шифрованная телеграмма:

«Л. А. Ратаеву. Сведений масса. Многое едва удержал в памяти, так как записок вести не мог. «Союз» в руках у нас, вопрос лишь о способе использования материала. Но об этом завтра. Остаюсь искренне уважающий и глубоко преданный вам покорный слуга. Меньшиков».

За шумом приводных ремней, жужжанием веретен людских голосов почти не слышно. Едко пахнет горелым маслом, хлопковой пылью. В углу, справа от входа в цех, над машиной склонились ремонтировщики. У них напряженные озабоченные лица. У приводного ремня задрался конец. Ремень хлопает с равными промежутками: чек-чек-чек... На него пока не обращают внимания: вот наладят машину и тогда сходят за шорником.

В дверь заглянул Василий Дерин, торопливо позвал Федора Крутова. Федор хотел выйти к нему, но заметил в проходе фабричного механика Чмутина. Идет стремительно, полы сатинового халата разлетаются в стороны, как крылья приготовившей-

ся к полету птицы. Остановился у машины, тоже стал сосредоточенно слушать.

Увидев возле мастеровых начальство, поспешил к машине мастер Терентьев. На рыжей жесткой бороде налипли пушинки хлопка. Выпучил глаза, прикрикнул на ремонтировщиков важно:

— Торопитесь, ребята, сегодня сдать надо.

Чмутин оглянулся на него — понял, к чему сказаны были слова, — презрительно хмыкнул. Достал из кармана халата белоснежный платок, тщательно вытер лоб, холеные полные щеки — так делают, когда закончена трудная работа. Затем удовлетворенно кивнул ремонтировщикам, дескать, не мне вас учить, и поспешил по своим делам. Вытянув шею, мастер почтительно последовал за ним — может, начальство соизволит оглянуться, спросить что-нибудь.

И только тогда Федор вышел на лестничную площадку, вопросительно посмотрел на Дерина.

— Марфуша сейчас была. В каморки пришел студент, а за ним сразу слежка. Говорит, что спрятала у себя. Добивался или тебя, или меня.

— Может, Мироныч?

— Откуда я знаю. Надо идти, ждет она у ворот.

— Мне сейчас никак нельзя. Машину надо пустить.

— Без тебя пустят.

— Кто? Один Васютка Работнов. Чего он сможет!

— Ну, приходи, когда освободишься. Я пойду сейчас отпрашиваться. Да, — спохватился Василий, — еще новость. Утром арестовали Евлампия.

— Не болтай, — не поверил Федор. — За что его?

— Это их спрашивать надо. Из каморок взяли.

— И больше никого?

— В том-то и дело. Думай на что хочешь.

— Я постараюсь побыстрей вырваться и прибегу.

Арест Колесникова поразил Федора. Когда Евлампий сболтнул в курилке о появившихся листовках: «Марии Ивановны подарочек», было понятно, за что взяли. В тот же день и был выпущен. Но почему сейчас?

Раздумывая об этом, Федор не заметил, как сзади появился старший табельщик Егорычев. Страж фабричный держал под мышкой штрафную книгу. Последняя запись в ней под номером девятнадцать гласила: «25 копеек. Помощник прядильщика Си-

зов. В коридоре сидел на окне с крутильщицей, которая оправляла початки, и баловал, а крутильщица кричала довольно шибко, что слышно было на лестнице».

Девятнадцать оштрафованных за один день! Для ровного счету не хватает двадцатого. Найдет его старший табельщик и будет доволен: можно идти домой, ужинать и спать спокойно.

Рваный ремень отсчитывает: чек-чек-чек...

— Почему хлопает? — жизнерадостно спросил Егорычев. Как охотник при виде дичи замер, ждал ответа.

Занятый делом, Крутов машинально сказал:

— Пусть себе хлопает.

Егорычев подкрутил роскошный ус: в голосе мастерового слышится явная непочтительность. Раскрыл книгу и вывел химическим карандашом, медленно, наслаждаясь, цифру двадцать.

— Тридцать копеек штрафу, — произнес вслух.

Федор не оглядывается, не приподымает головы, прислушивается, не добавит ли Егорычев еще что. А мысли совсем о другом.

«Если это Мироныч, зачем он пошел в каморки? Как его простили на фабричный двор?»

Рядом с Федором неповоротливый, с заспанным лицом Васька Работнов. Рукава рубашки закатаны выше локтей, кожа на руках от постоянной машинной грязи в прыщах, темная косая челка прилипла к потному лбу.

— А за что тридцать копеек? — наивно осведомился он у табельщика.

Тот искоса посмотрел на парня, предупредил беззлобно:

— Поговори-ка, и тебя оштрафую.

— Легко вам эти штрафы даются, — обиженно сказал Васька. Он смотрит то на табельщика, то на Федора Крутова — почему не протестует? Федор пока не проронил ни слова, продолжает копаться в машине: чертова колымага не слушается, рвет ровницу.

— Теперь и тебе запишу, — ласково сообщает Егорычев. — Не хотел, да сам выпросил. За любопытство. Ему за непочтительность — тридцать, с тебя, думаю, двадцати достаточно...

В следующее мгновение он широко разевает рот, как рыба, выброшенная на берег. Это у Федора Крутова сорвался с гайки ключ, рука дернулась назад и локтем задела круглое выпирающее брюшко старшего табельщика. Егорычев силился перевести дыхание, на глазах появляются мучительные слезы.

— Прошу прощения, — говорит ему Федор и внимательно смотрит на помощника. — А ведь машина-то пошла, Васюха. Обрывов не видно.

Парень повеселел, трет подолом рубахи лицо — больше для того, чтобы скрыть плутоватую усмешку.

— Не могла не пойти, Федор Степанович. Для того и старались.

Егорычев отдохнул, хрюкнув пригрозил:

— Прибавлю по пятьдесят копеек тому и другому.

Ему не ответили, и тогда табельщик сорвался на крик:

— По пятьдесят, слышите? — Засеменил по цеху. От ярости ослеп, натыкался на людей.

Федор взял из ящика ветошь, тщательно вытер руки.

— Вот и заработали мы с тобой, Васютка, — невесело сказал помощнику. Хлопнул по плечу парня. — Ладно, не горюй. Все это мы учтем и предъявим, будет время. Сбегай-ка за шорником, пусть ремень подошьет. А я отправился домой, дело есть.

4

В каморке у Марфуши Оладейниковой в самом деле сидел Мироныч. Появление его было неожиданным.

Она поднималась по лестнице на третий этаж, когда ее обогнал встрепанный, запыхавшийся хожалый Коптелов.

— Студент сюда прошел? — спросил ее.

Марфуша хотела ответить, что вся ее забота только и бегать за студентами, но хожалый уже рванулся в дверь второго этажа. Снизу по железной лестнице топали кованые сапоги — следом поднимался городовой Бабкин.

С улицы коридор, как всегда, казался мрачным и темным. Марфуша уже подходила к своей каморке, когда увидела молодого человека в короткой тужурке с форменными светлыми пуговицами. Он спросил:

— Не знаете ли, где разыскать Дерина?

А грузные шаги городового слышались совсем близко.

— Скорей сюда, — шепнула Марфуша, втаскивая его в каморку.

Он подчинился, но, видимо, был очень удивлен. Марфуша накинула дверной крючок и только тогда внимательней приглядилась к студенту. У него были короткие усыки, которые при-

давали лицу не совсем серьезное выражение, темные волнистые волосы и голубые глаза.

— Зачем вас ловят? — с любопытством спросила она.

— А разве меня ловят? — с улыбкой справился он.

— Хожалый с городовым по этажам бегают. Ищут.

Он пристально посмотрел ей в глаза. Поверил.

— Не знаю, для чего я им понадобился. — Помедлил и спросил оживленно: — А вы, значит, решили меня спасти?

Марфуша потупилась от долгого взгляда, проговорила ходнико:

— Дерина нет, он на работе.

— А Крутова вы знаете?

— Как же, известен. Тоже работает.

— Я так и думал. Был у него — никого нет. Позволите мне подождать Дерина здесь?

— Мне что, сидите, — беззаботно сказала Марфуша. — Вон табуретка. — Подождала, когда сядет, и сама уселась напротив. Спросила: — А откуда вы их знаете, Дерина и Крутова?

Студент уже совсем освоился. Улыбнулся хитро и стал рассказывать, как месяц тому назад купался на Которосли возле Николо-Мокринских казарм и вдруг стал тонуть. На его крики прибежали с фабрики два рослых человека. Как раз вовремя, он уже пускал пузыри. Он поблагодарить их тогда не догадался, но фамилии свои они сказали. Поблагодарить пришел сейчас, жаль, что они еще на работе.

Рассказывал он так правдиво, что Марфуша ясно представила, как Федор и Василий кидаются в воду за студентом. Представила и вдруг поняла, что студент шутит: какое же купание месяц назад, на реке еще лед стоял.

— Врите больше, — сказала она.

— Стараюсь, — серьезно ответил ей студент.

И опять стал рассказывать, что в сиамском королевстве есть город, где все служебные должности исправляют женщины: городовые там — женщины, судьи — женщины, сторожа — женщины. В этом городе всего один мужчина — сам король. Другим запрещено бывать под страхом смерти. И если бы он, студент, находился сейчас не здесь, а в том сиамском городе, ему бы не сдобровать: от фабричного хожалого и городового еще можно скрыться, а от женского глаза еще никому не удавалось.

Выслушав, Марфуша опять сказала:

— Врите больше.

И опять он с полной серьезностью ответил:

— Стараюсь.

Так она ничего от него и не добилась. На все ее вопросы он отвечал шуткой.

— Вы сидите и никому не открывайте, — сказала она студенту. — Я пойду в фабрику, предупрежу их, чтобы поторопились.

Она, как была, в одном платье, только что накинула на плечи тонкий платок, вышла из каморки.

У подъезда со скучающим лицом стоял Бабкин. «Коптелов, видимо, рыщет по этажам, а этого поставил здесь», — подумалось ей.

Обо всем она и рассказала Василию Дерину.

Мироныч знал о Дерине со слов Федора, самого никогда в лицо не видел. Поэтому немного растерялся, когда вслед за Марфушей в каморку вошел, сутуясь, длиннорукий, широкоплечий человек. Да и Василий замешкался, разглядывал студента и молчал, не зная, как к нему отнестись, о чем говорить.

— Василий Михайлович? — спросил наконец Мироныч.

— Да, — проговорил Василий. — Он самый.

— Неосторожно поступил, что пришел к вам, — здороваясь за руку, сказал Мироныч. — Да выхода не было.

— Всех бояться — на свете не жить, — буркнул Василий. Опять не знал, что говорить дальше. — Вы побудьте тут, я хоть схожу переоденусь. К тому времени и Федор подойдет. До темноты вам все равно из корпуса не уйти.

Марфуша решила напоить студента чаем. Пока была на кухне, пришел Федор.

— Здорово, Мироныч, — обрадованно сказал он студенту. Вскоре появился переодетый и умытый Дерин.

Уселись за столом, Марфуша с любопытством наблюдала от двери. «Фи, — подумала, — Мироныч! Таких молокососов у нас на фабрике Мирошками величают».

Тут она, конечно, покривила душой. Парень был ладный, но она мстила ему за то, что он не хотел с ней говорить серьезно, только отшучивался.

— Невеселые вести принес я вам...

Глуховатым голосом Мироныч рассказал о начавшихся в городе арестах. Пароль «Северного союза» попал в руки охранки. Арестована и отправлена в Коровницкую тюрьму Марья Ива-

новна, еще некоторые товарищи. Даже не пощадили старика аптекаря. Разгромлена типография.

— Сейчас понятно, почему взяли Колесникова, — сказал Федор. — Посчитали связанным с Марьей Ивановной.

Арест его говорил, что об остальных кружковцах у охранки нет никаких данных, иначе не спаслись бы и другие.

— У нас Андрея Фомичева вызывали в контору, расспрашивали, не знает ли, кто приносит в фабрику листовки. Советовали держать связь с бывшими товарищами по прошлой стачке, то есть с нами, — доложил Федор. — Сам Андрей признался. Не совсем я ему поверил, как-то неискренне говорил. А с другой стороны — предупредил человек.

— Будь доглядчиком, едва ли рассказал бы об этом, — заметил Василий.

— И все-таки полагаться на совесть не следует, — вмешался Мироныч. — Есть сомнение — проверьте.

— Как ты его проверишь? Лучше вообще не откровенничать с ним.

Марфуша поставила на стол чайник, стала расставлять чашки. Все молча наблюдали за ней.

— Может, мне Андрея проверить? — сказала как можно равнодушнее. — Попробую, если скажете.

— Обведет он тебя вокруг пальца и вся твоя проверка кончится, — недовольно произнес Федор. — Иди лучше взгляни, стоит ли городовой у подъезда.

Марфуша вспыхнула от обиды. Ах вот как! Ну она еще докажет, что не глупее некоторых.

Вышла, в сердцах хлопнув дверью. Мироныч конфузливо выговорил Федору:

— Рассердилась. Зачем ты так?

— Ничего. Отойдет. — Федор поднял взгляд на часы с кривым маятником. — Скоро на доработку отправится вторая смена, — объяснил Миронычу. — К этому времени стемняет. Вместе выйдем. Проведем тебя к плотине, а там придется через луг пешком.

Марфуша вошла и сказала, что Бабкин все еще караулит около корпуса.

— Больно уж тужурка приметная, пуговицы блестят, — сказал Василий. — Придется надеть передник.

Он сходил к себе за передником, накинул на Мироныча. Федор дал свой картуз, который оказался великоватым, что

было даже к лучшему: козырек почти сел на нос, Мироныч сразу изменился.

— Что же вы чаю не попили? — растерянно спросила Марфуша, видя, что они собираются уходить.

— Как-нибудь в другой раз. — Мироныч крепко пожал ей руку. — Спасибо за все. Не случись вы на пути, не знаю, чтобы я делал.

Марфуша торжествующе посмотрела на Федора: вот как воспитанные люди за добро благодарить умеют — учись! Сама сказала:

— Эко дело — в каморке посидел. Не жалко.

Василий Дерин шел впереди, Мироныч сзади его, сбоку Федор, чтобы в случае чего отвлечь Бабкина.

Городовой скользнул по ним равнодушным взглядом — видно, осточертело стоять истуканом, — ничего не сказал. А когда прошли, вдруг окликнул Федора:

— Подожди-ка, Крутов.

Федор вернулся. Спросил недружелюбно:

— Зачем звал, служивый?

— Дай-ка закурить. — Бабкин словно не заметил недовольства в голосе мастерового. Неторопливо свертывал цигарку, покряхтывал, словно никак не мог откашляться. — Тянет на старое-то жилье?

— С малых лет здесь жил, еще бы не тянуло.

— Да, привычка. — Бабкин прикурил, отдал кисет. — А одели-то вы его неловко.

— Ты о чем? — изумился Федор.

— Студента, говорю, одели неловко. Фартук навязали, картер нахлобучили, а волосы сзади забыли убрать. Не ходят фабричные с такими волосами.

— А-а! — Федор широко улыбнулся. — Ну так ведь торопились, некогда было. Сошло и так.

— Сошло, — лениво сказал Бабкин. — Коптелова не встретили, вот и сошло. В следующий раз гляди.

— Ладно, старина, учтем. Будь здоров.

— Бывай, — сказал Бабкин.

Поступок городового удивил Федора. Пытался понять, почему тот так сделал. Бабкин давно в слободке и знает в лицо почти каждого. Может, чувствует, какие времена наступают и не хочет вызывать злость к себе? Так или иначе, а только случай спас Мироныча от ареста.

Федор нагнал Василия и Мироныча уже у плотины. Слева светилась огнями фабрика. Из открытых улевов плотины доносился шум воды. На небе появились первые звезды.

Стали прощаться. Мироныч сбросил передник. Отдал ухмыляющемуся Федору фуражку.

— Признал тебя городовой, да говорит: «Ладно, вроде парень стоящий, пусть идет».

Мироныч недоверчиво взглянул на него.

— Шутишь?

— Все как есть. По волосам узнал. Хорошо, что все так складно получилось.

— Маевку будем проводить, как бы трудно ни было, — сказал Мироныч. — Пусть все поймут: организация действует. Листовки для вас есть. Присылайте людей за ними. В лицее мы кое-что предпринимаем. Достанем гектограф, тогда опять наладим печатание. Но сейчас, пока полиция поднята на ноги, надо быть очень осторожными.

— Ладно, сам берегись. Нам здесь легче, кругом свои. Даже городовой Бабкин сочувствует. Прощай!

Мироныч скорым шагом пошел еще не просохшей дорогой туда, где вдалеке мигали огоньки городских домов.

5

Сколько раз на день пройдет по прядилке старший табельщик Егорычев и всегда возле Марфуши замедлит шаги. Как муху на мед тянет его к ней. Оглядывается Марфуша — и тем доволен. «Поди-ка вот, — удивляется себе, — чем взяла, понять трудно». И лаской пробовал, и угрожал всяческими неприятностями — ничего не действует. Смеется только: «Я на вас взглянуть робею, не то что больше».

Нынче тоже остановился, и Марфуша оглянулась. Да не просто так, как оглядываются, когда чувствуют взгляд в спину, а с улыбкой. Егорычев от неожиданности моргнул, потряс головой — думал сначала, что показалось. Нет, улыбается, смотрит призывающе. От улыбки на щеках ямочки появились — две такие хорошенечкие ямочки.

— Утро доброе, Серафим Евстигнеевич, — ласково сказала Марфуша.

— Здравствуй, здравствуй, красавица, — заворковал Егорычев. — Хорошее настроение, вижу.

— Да уж какое хорошее, — кокетливо отмахнулась она. — Мало, чего хорошего.

«Не иначе смирилась», — решил Егорычев и предложил блудливо:

— Зайди в конторку через полчасика. Никого не будет.

Ждал отпора, но ничего страшного не случилось. Даже не удивилась, не покраснела. Только сказала:

— Зачем же в конторку? Вы меня гулять пригласите. После смены, чтоб не торопясь погулять.

— Да куда же я тебя приглашу, чудачка, — растерялся Егорычев. — Увидит кто, разговоров не оберешься.

— Боитесь? — И засмеялась звонко. Блеснула лукаво синими глазами. — А вы приходите на бережок, ниже острова. Там кусточки скроют от чужого взгляда.

— Ах ты какая! — восхитился Егорычев. А про себя подумал: «Ну и племя бабье: грешить и то хотят с вывертом. Кусточки... Апрель еще на улице, а она — кусточки».

— Когда же прийти скажешь?

— Часикам к шести, не раньше. Домой еще надо забежать. Да и темняет поздненько теперь.

Ушел Егорычев. Жирные щеки порозовели, поглаживает нафабренные усы, ухмыляется, представляя приятную встречу на берегу Которосли.

Часом позднее проходил по прядилке Крутов. Марфуша не-заметно кивнула: все в порядке. Федор, не задерживаясь, прошел по проходу к машине Андрея Фомичева.

Андрей работал в исподнем, блестел лоб от пота. Оторвался на миг, глотнул из чайника, стоявшего на окне, холодной воды. Жарко в прядилке.

— Стараешься, даже взмок. Хозяину набить мошну спешишь?

— Не только ему, — не обидевшись, сказал Фомичев, — и себе хочу приработать. Все-таки дом строю.

— Я пошутил. — Федор оглянулся — нет ли кого, сообщил вдруг радостно, с озорством: — Мужики сейчас трепались: сегодня вроде прибудет кто-то из города. Не иначе опять листовки появятся.

Фомичев насторожился, тоже огляделся вокруг.

— От Марии Ивановны товарищ?

— Эва, хватил! — воскликнул Федор. — Ты со своим домом от всего отрешился. Тю-тю твоя Марья Ивановна. Арестовали, говорят.

— Что ты! — посочувствовал Фомичев. — Я ведь и в самом деле ничего не знаю... От кого же тогда прибудет человек?

— Кто его знает. Чай, сам по себе. Нынче многие этим занимаются. Напечатает сам и раскидывает сам. Одному-то еще надежнее.

— Чудеса какие-то рассказываешь, — с недоверием проговорил Фомичев. — Как это сам напечатает? Машина для этого нужна.

— За что купил, за то и продаю. Ты думаешь, я верю? Но говорят. Приедет будто на лодке. Из наших кто-то согласился встретить его — в курилке об этом мужики шептались. В кустах, ниже острова встречать будут. А потом на фабрику приведут... Не знаю, как это они мимо сторожа... — Федор беспокойно договорил, торопясь: — Хоть бы в гости зашел когда. Или теперь женился, так молодую на глаза людям боишься показывать — уведут?

— Не говори не дело. — Фомичев обиженно надулся, отвернулся лицо. — Выберем времячко, зайдем, посидим. Вот уж отстроюсь, тогда...

— Ладно, будь здоров. На штраф боюсь нарваться. Ты всегда заходи, буду рад. Нам с тобой чураться нечего. Последняя забастовочка сроднила.

— Будь она неладна, — выругался Фомичев.

После ухода Федора он задумался: стоит ли предупреждать директора? Рассказать, так засмеет, не поверит. «Сам разбросает...» А если появятся завтра листовки? Еще хуже. Вызовет да еще, чего доброго, накричит, прибавок к жалованью отменит. А прибавок, когда и бревна нужны, и гвозди нужны, очень кстати.

«Предупрежу, раз так, а там как хотят».

После работы он замешкался у машины. Торопливо пробежала Марфуша — этой все нипочем, словно и не стояла смену. Прешел Василий Дерин, ссгутившийся, постаревший. Сына, видать, жалеет: здорово покалечился Егорка, до сих пор в постели валяется. Хорошо, если болезнь пройдет без последствий, а то на всю жизнь калекой отцу на шею сядет. И парень-то хороший вымахал: в плечах — ровня отцу, ростом — того гляди, обгонит.

Старший табельщик Егорычев вышел из умывалки, тоже, видать, домой собрался.

Кажется пора. Как вор, Фомичев побежал по лестнице в катору.

Вот уже в фабрике огни зажглись. Потемнели крыши домов слободки. К вечеру похолодало. Табельщик прогуливается по скользкому сырому берегу, вглядывается в стрелки золотых часов луковицей, переводит взгляд в сторону плотины. «Неаккуратная какая», — бормочет ворчливо.

За свою жизнь он усвоил повадки женщин и пока не очень расстраивался от того, что Марфуша запаздывала. Оглядывался по сторонам — слава богу, пустынно. Не приведи встретиться знакомому, что сказать в ответ? Опять вынимал часы.

В кустах, не далее чем в двухстах метрах, лежали на волглой земле городовой Бабкин и хожалый Коптелов. Ни пошевелиться, ни подняться — совсем закоченели. Признав старшего табельщика Егорычева, дивились немало: «Хорош гусь, то-то скривит директор рот, когда узнает, что верный служащий якшается с социалистами». От нетерпения вытягивали шеи, ожидая увидеть подплывающую лодку.

Но лодка не показывалась. Егорычев в последний раз взглянул на часы и вдруг понял, что обманут: посмеялась над ним девчонка. Крякнул с досады, направился к плотине. Бабкин и Коптелов многозначительно переглянулись: не иначе сорвалось, не дождался. Не сговариваясь, поднялись разом и, перебегая от куста к кусту, потянулись следом.

Ни они, ни Егорычев не заметили недалеко от плотины рыболовов. Поплавав на червяка, закидывали удочки в мутную паводковую воду Артем Крутов и Васька Работнов. Сидели, посмеивались.

Егорычев прошел плотиной, остановился. Весь клокотал от ярости: «Шутки шутить! Поди, веселится сейчас! Еще неизвестно, кто потом веселиться будет». Придумывал, как отплатить за обман. То видел Марфушу — голодную и оборванную, подживающую его у фабричных ворот, — умоляет снова взять на работу. Он будто бы отвечает ей: «Побегай теперь, побегай. Ножки целовать станешь и то милости не дождешься». То представлял, как встретит ее в каком-то глухом месте, один на один...

Нарисованная воображением картина расправы с Марфушей тешила уязвленное самолюбие, но злость не уходила. Фабричные корпуса светились огнями, гул, доносиившийся из пыльных окон, напоминал, что там идет обычная жизнь. И, подумав о фабрике, о людях, находящихся сейчас в ней, Егорычев вдруг почувствовал себя спокойнее: «Не одна она, есть же и другие».

Поднялся по железной маслянистой лестнице на второй этаж, ударом ноги распахнул дверь. На него пахнуло жаром, пылью. Он размашисто шел по проходу между машинами, ловил любопытные взгляды рабочих. Навстречу худенькая девчонка-подросток толкала тележку с пряжей. Егорычев не отступил в сторону и ей пришлось остановиться.

— Зайди-ка, — грубо сказал он, показав на двери contadorki.

Девчонка затрепетала, оглянулась беспомощно. В глазах были страх и тоска. Ловила взгляды работниц, ища поддержки, они отворачивались, горбились у машин.

И тогда она оттолкнула от себя тележку, вызывающе тряхнула головой и пошла следом за табельщиком.

— Зовут как? — спросил Егорычев, устало опускаясь на диван. В contadorке свет был тусклый — полумрак.

— Ольгой, — храбро ответила она. — Прокопия Соловьева дочка.

— Вот как! Сиротка...

Девчонка потупилась.

— Ну, не бойся. Подойди-ка.

Лелька с опаской приблизилась, настороженно присматривалась к табельщику.

— Хочешь хорошо зарабатывать?

— Кто не хочет. — Щеки у Лельки заалели. Стрельнула глазами на дверь: «Как поднимется, удеру».

— Могу помочь... — Потянулся к подбородку, хотел ущипнуть. Лелька отпрянула.

— Не лапайте!

— Ах вот ты как! — Егорычев резко подался к ней, схватил за руку, потянул на себя. Лелька сцепила зубы, отчаянно рванулась.

— Кричать буду...

— Ладно, ладно, не убудет. — Он прижал ее к себе, хотел пощекотать усами порозовевшие щеки девчонки. Она как кошка изогнулась, царапнула его. От неожиданности Егорычев разжал руки, схватился за лицо.

— Мерзавка, — выругался он злобно.

Лелька была уже у двери. Крикнула:

— Будете приставать, удавлюсь. Заараньше записку напишу.

— Вон отсюда! — взревел табельщик.

Лельку как ветром сдуло.

«Ну и день, прости господи!» — подумал Егорычев, осторожно потирая ссадину.

Пождал в конторке для приличия — не сразу же выходить за этой бесноватой девчонкой. Шел степенно, незаметно прикрыв щеку поднятой к плечу рукой. На проходе между машинами тележки с пряжей уже не было. Работницы занимались своим делом и вели себя так, будто ни о чем не догадывались.

От фабрики Егорычев пошел по направлению к Тулуповой улице. Авдотья Коптелова — вот у кого можно отдохнуть, забыться. Такой же девчонкой, как и эта, сегодняшняя, узнала она его и с тех пор каждую ласку принимала безропотно. Одно его стесняло, что ходить к ней надо было задворками — как огня боялся людских пересудов. О том, что есть у нее муж, он никогда не задумывался. В конце концов это их дело, как они живут. Важно, что он приходил — и ее лицо светилось неподдельной радостью.

Небольшой домик в два окна на улицу недалеко от реки. Сквозь тонкие занавески пробивается огонек лампы. Егорычев толкнул шаткую калитку. По кирпичам, брошенным в грязь, прошел к крыльцу, постучал.

Авдотья, рослая, еще красивая женщина, открыла дверь, всплеснула полными руками.

— Ой, да что же вы не предупредивши, — сказала смущенно. — Не прибрано у меня.

Егорычев шагнул в темные сени. Авдотья, обдав его теплом сытого тела, побежала в прихожую. На ходу скинула с лавки какие-то тряпки, поклонилась.

— Присядывайте, Серафим Евстигнеевич. Притомились поди. Господи, забот-то сколько.

— Дай стопку водки, — попросил Егорычев.

— Что же я сама-то... Прости глупую. — Метнулась к шкафчику, достала початую бутылку. Щедро налила в стакан, поднесла. — Кушайте на здоровье, Серафим Евстигнеевич.

Вмиг на столе очутилась квашеная капуста, хлеб. Егорычев тянул водку медленными глотками. Авдотья сидела напротив и любовалась им.

— Что это щека-то у вас? — вскрикнула испуганно, заставив его вздрогнуть. — Рассадили чем?

— Проволокой царапнул. — Егорычев проголодался и ел с аппетитом. — Где твой-то? — спросил равнодушно.

— Пес его знает, — ответила Авдотья. — Чай, сторожит, ночами-то его никогда не бывает.

— Хорошо.

Она встала сзади, обняла за шею. Руки были мягкие и от них пахло мылом. Видимо, Авдотья перед его приходом стирала.

— Устели постель, прилягу.

Авдотья пошла в переднюю комнату. Пока она разбирала постель, он смотрел на ее широкую, гладкую спину. Чувствуя его взгляд, она обернулась, прильнула податливым телом, жадно начала целовать.

— Ну, будя, будя, — ворчливо остановил он ее. — Помоги-ка сапоги снять...

Уставший, забыв все огорчения дня, Егорычев уже начал засыпать, когда в наружную дверь бухнули чем-то тяжелым.

Авдотья откинула одеяло, соскочила на пол. В дверь неистово барабанили.

— Принесла нелегкая. — В голосе Авдотьи была только досада. Зато Егорычев перетрусили не на шутку. Путаясь в одежде, растерянно оглядывался, не зная, куда деться.

— Побудь здесь, — странно спокойным голосом сказала она и, как была, в нижней рубахе, пошла открывать. Егорычев бессильно опустился на стул, от волнения и страха клацал зубами. Он слышал, как щелкнула дверная задвижка, слышал приглушенный, опять-таки странно спокойный голос Авдотьи, прерываемый визгливыми выкриками мужчины. Потом в сенях загремели ведра, что-то тяжелое грохнулось на пол.

— А-а! — донесся истощенный крик, и все смолкло.

Егорычев помертвел, когда увидел перед собой пошатывающуюся фигуру в белом, с длинной кривой палкой в руке. Он отшатнулся в ужасе, вдавился в спинку стула.

— Чур! Чур меня! — забормотал, крестясь торопливо. — Изыди!..

— Порепшила проклятого, — глухо сказала Авдотья. Она остановилась, не замечая его смятения, привалилась к косяку. — Давно знала, что убью... Не сегодня, так завтра...

Страшно было смотреть на нее — полураздетую, с распущенными волосами. Егорычев чувствовал, как противный озоб

заползает под рубашку. Только теперь он разглядел в ее руке коромысло. Дико вскрикнув, Егорычев бросился в сени. В темноте наткнулся на лежащего у распахнутой двери человека, отпрянул.

— Испугался! — Жуткий смех Авдотьи заставил его опомниться. — Убила... И еще раз убила бы... Одного хочу...

Он замахал на нее руками.

— Молчи! Молчи!.. Ополоумела, баба. Сам он убился, дура!

— Как это сам? — изменившимся тихим голосом спросила Авдотья. — Я! Я это его! И сказать никому не побоюсь.

Не сознавая, что делает, рванулась к окну, толкнула забушенные рамы. Егорычев проворно подскочил к ней, отпихнул с силой. Тяжело дыша, сказал с угрозой:

— Обо мне подумала? Опомнись, Авдотья!.. Иди в полицию. Скажешь: упал с лестницы. Как — не знаешь, увидела, мол, мертвого... Авось обойдется. Слышишь?

Авдотья начала приходить в себя. Присела на стул, где только что сидел Егорычев. Коромысло выскользнуло из ее руки, с двойным стуком шлепнулось об пол.

— После меня выйдешь, — с дрожью в голосе от непрощенного испуга продолжал Егорычев. — Сама как хочешь. Меня тут не было.

— Все вы... — не договорив, Авдотья махнула рукой. — Уходи...

Пересилив страх, Егорычев перешагнул скрюченный труп хожалого, оглядываясь, потрусили к калитке.

6

— Как на первое свидание рядишься, — ревниво проворчал Родион. Сидел он на низкой скамеечке, чинил прохудившийся ботинок. Владелец ботинка девятилетний Сямка, младший сын Катерины Соловьевой, пристроился на полу рядом, заинтересованно следил за его работой. Кожа сгнила, подметку не за что прихватить, но Родион не отступался. На корявом от осипин лбу вздулись жилы. — Там на тебя глядеть не будут, в чем пришла. Появилась тихо, унесла тихо — и все довольны.

— Много ты в этом понимаешь, — беспечно отозвалась Марфуша, прихорашиваясь перед зеркалом. — Когда женщина кра-

сивая, никому и в голову не придет подозревать ее в чем-то... Отвернись, чего уставился? Переодеваюсь все же!

— Поди-ка, не совсем чужой, — ослабился Родион. — Чай, можно и посмотреть.

— Чай-молочай, — передразнила Марфуша. Упрекнула тоскливо: — Какой же ты грубый, Родя.

Платье надела новое — синий горошек по белу полю, поверх бархатную жакетку, на ноги — модные ботинки с высокой шнурковкой. Расчесала волосы, чтоб пышнее были. Наблюдая за ней украдкой, Родион только вздохнул, как всегда удивляясь красоте ее и тому, что она терпит его возле себя, — рябого, неказистого.

Год, как ходит он к ней, и все это время не гонит она его и ближе не подпускает. Иногда вспылит Родион, заговорит мужская гордость: «Что я для тебя, пустое место? Чай, мужик во всем, не деревяшка!»

«Что ты, Родя, — ответит, — я тебя уважаю. А обещать ничего не обещала. Сразу тебе об этом говорено было. — И засмеется: — Чай-молочай».

Родиону бы уйти, хлопнув дверью, и не может. К другим девчатам не тянет. Как хотел бы назвать ее женой, как баловал бы... По ночам просыпался в испуге — снился один и тот же сон: идет он с Марфушей по дремучему лесу и теряет ее, кричит, ищет и найти не может.

— Артем должен бы зайти... — Марфуша собралась, и теперь, стараясь не помять платье, присела на краешек табуретки. — Сходить разве к ним?

— Что ж, сходи, все одно по пути, — подсказал Родион.

Ждал, что хоть посмотрит ласково перед уходом, но она скользнула отсутствующим взглядом куда-то поверх его головы, сказала:

— Пошла я...

— Будь ты неладна, — с досадой ругнулся Родион: дратва опять прорвала гнилую кожу ботинка.

В коридоре Марфуша столкнулась с женщинами, хотела обойти, но Марья Паутова, оглядев ее неодобрительно, полюбопытствовала:

— Куда ты такая радостная да нарядная?

— А к подруге, на Большую Федоровскую, — легко соврала Марфуша. — Уж так давно зовет, все никак времячко выбрать не могла. А тут решила: дай схожу.

Говорила, а сама весело думала: «Ни чуточки не подозреваете, к какой я подруге. Вот бы удивились, когда узнали».

— Прощевайте, — торопливо сказала женщинам и быстро застучала каблуками по железной лестнице.

— Чай, подруга-то с усами? — вдогонку крикнула Марья. — Родион-от сам отпустил тебя или убежала?

— А что мне Родион?.. — Марфуша даже остановилась, хотела сказать что-нибудь резкое: пусть не вмешивается не в свое дело. Но совладала с собой. Марью все равно не переговоришь. — Родион сам послал. Сходи, дескать, проветрись.

— Ну вот допосылается, — сварливо заметила женщина.

Марфуша вышла из темного подъезда и сразу ослепла. День-то какой! Весеннее солнышко расплескалось в лужах, журчат говорливые ручейки. От мокрых деревянных тротуаров поднимается парок. Гомон грачий на высоких березах у реки. На улице народу, что в праздник.

Идет Марфуша, радуется весне и солнцу, улыбается встречным людям, и ей улыбаются.

У часовенки напротив фабричного училища задержалась. Неслось из открытых дверей гнусавое пение. Марфуша перекрестилась пугливо. Четверо мужиков на длинных белых полотенцах вынесли гроб и направились к Донскому кладбищу. Плелись сзади старухи с постными лицами — плакальщицы. Две из них поддерживали высокую женщину во всем черном. Она шла опустив голову, прикладывала к сухим глазам белоснежный платок. Это была Авдотья Коптелова, из их прядильного отдела.

Марфуша пробилась вперед любопытных, взглянула на покойника. Несли Петруху Коптелова, кожалого фабричного двора. В толпе говорили, что он уился, упав дома с лестницы. Авдотья, поравнявшись с толпой, вдруг взвизгнула тонко, забилась в руках старух.

— Жалеет, — сочувственно сказал сосед Марфуши, старик с большой связкой веревок на плече.

Процессия удалилась, толпа разошлась. Марфуша и не знала, что она может быть такой впечатлительной. Пока шла к дому, где живут Крутовы, в глазах все виделась Авдотья Коптелова, бившаяся на руках у старух. Представила себя на ее месте и испугалась: «Ой, мамоньки, страсть-то какая...»

Федор с Артемом обедали. В комнате чисто, но не очень уютно, не чувствовалось заботливой женской руки. Под внимани-

тельным взглядом Федора Марфуша потупилась, а сердце радостно екнуло: «Нравлюсь. Хоть капельку, да нравлюсь, иначе чего бы так смотреть стал».

Артем аппетитно ел картошку с солеными огурцами. Сожалением отодвинул блюдо, поднялся. Скуластый, непокорный хохолок на макушке, ростом отцу по плечо. Пробасил:

— Я готов.

— Все запомнил? — спросил Федор.

— Было бы чего. — Артем небрежно махнул рукой. — Знаем...

— Не храбрись очень-то, — сурово заметил ему отец. — Не на прогулку собрался.

На Зеленцовской сели в трамвай. Громыхая по рельсам, выкатил он на Большую Федоровскую. Версты на три тянулись дома по обе стороны ее. На этой прямой длинной улице всегда людно: спешат прохожие, тянутся груженые подводы. «Извозчика в два счета обгоняет, — вспомнились Артему слова Егора. — Не видел — чего говорить». Усмехнулся хитро, поглядывая в окошко на медленно плывущие мимо дома. Вагон тащился еле-еле.

Сегодня Артем встретил Лельку Соловьеву, сказала, что Егор уже выбирается на улицу. Значит, дело на поправку идет. Пора, ползмы валялся. «Надо будет проведать завтра», — отметил про себя.

О том, куда он едет, Артем не думал. Не думала об этом и Марфуша, сидевшая рядом на лавочке. «Прихорашивалась перед зеркалом, надела все самое лучшее. Будто и не для него. Только и есть, что посмотрел». Обидно Марфуше. Хотелось, чтобы похвалил, сказал что-нибудь ласковое. Подчиняясь своим горьким думам, тяжело вздохнула.

Мать, когда еще жива была, говаривала: «Ты крепись, дочка, у каждого в жизни бывает что-нибудь не так, а особливо у женщин». Марфуша смеялась: «У меня будет все так»... А они, ее-то слова оказались вернее. Бежало к Марфуше счастье, торопилось и застяжало где-то, ищи его — не найдешь. Впервые почувствовала неладное в памятную рождественскую ночь, когда пришли ряжеными в дом бывшего управляющего фабрикой Федорова. В костюме молодца отплясывала Марфуша перед Федором Крутовым, пока не заметила, что смотрит он мимо нее.

Побледнела тогда, в изнеможении прислонилась к перилам лестницы. Наверно страшен был ее взгляд, потому что та, стоявшая на ступеньках лестницы, — заспанная, в накинутой на плечи шали — отшатнулась, спрятала лицо в тень. Хоть и знала Марфуша, что сердцу не прикажешь, но куда деть ненависть? Какую только кару не придумывала на голову той, что разметала ее счастье. Ах, Федор, Федор, понадобилась тебе синица в небе...

Отвлек Марфушу скрежет железа о железо — у магазина Градусова трамвай круто поворачивал налево, на дамбу. Которосль этой весной залила все прибрежные низины. Сейчас вода спадала, оставляя на прошлогодней траве слой серого ила.

На железном мосту, где на стойках написано предупреждающее «Шагомъ», трамвай совсем замедлил ход. Потом ехали вдоль высоких белых стен Спасского монастыря и по Большой линии, мимо оживленных торговых рядов. Вышли на Семеновской площади. Отсюда трамвай по крутым спуску нырял под каменную арку и шел до волжских пристаней.

Улица, на которую они попали, была тихой. Перед домами плотные заборы, калитки с крепкими запорами. Артем разглядывал номера домов и фамилии владельцев. Марфуша шла сзади. Встречные мужчины провожали ее взглядами — не замечала.

Артем остановился перед калиткой у небольшого одноэтажного дома в глубине двора. Попытался скинуть крючок, запирающий калитку изнутри. Со двора вдруг донеслось:

— Зачем же баловать? Или звонка не видишь?

Артем не обратил внимания на проволочку с петлей на конце. Теперь дернул за нее, во дворе отозвался колокольчик.

Калитку открыла молодая полнолицая женщина, не спрашивая, кто и зачем, пустила во двор, с любопытством оглядела.

— Вы к кому?

— Лекарство для ребенка, — сказала Марфуша. — Мироныч обещал помочь.

Женщина старательно заперла калитку, повела их по выложенному плитняком двору. Дом был разделен на две половины. У заднего крыльца женщина приветливо сказала:

— Входите. Мироныч сейчас придет.

На разговор вышла девушка, тонкая, как тростинка, в коричневом платье с глухим воротом. Улыбнулась маленьким ртом.

— А мы вас уже ждем, — сказала, пожимая им руки. Прогнала в небольшую опрятную комнатку. — Посидите пока... Варенька, — крикнула она бархатным голоском, — пришли от Федора.

Из соседней комнаты вышла Варя Грязнова. Была в белой кофточке, синей юбке, волосы собраны в пучок на затылке. Словно споткнувшись о что-то невидимое, замерла испуганно. А у Марфуши все поплыло перед глазами. Нашупав рукой спинку стула, присела обессиленно. Мертвенная бледность разлилась по ее лицу. Артем, не понимая, что случилось, но почувствовав неладное, наступил, сел рядом с Марфушей, полный решимости броситься в драку за нее.

— Здравствуйте, — тихо вымолвила Варя. Медленно подняла ладошки к горящим щекам, не зная, что дальше делать и куда деваться. Тоненькая девушка с недоумением наблюдала за происходящим. Вдруг сорвалась с места, захлопотала:

— Сейчас будем чай пить. Варенька, голубушка, поди скажи Анне Андреевне, пусть поставит самовар. Для молодого человека есть пирожное. — Растрелянно взглянула на Артема, надеясь, что хоть он скажет что-нибудь.

Варя поспешила вышла.

— Вы ведь любите пирожное? — спросила девушка, понимая, что ведет себя глупо и оттого заливаюсь краской стыда.

— Я люблю свистеть, — насмешливо отозвался Артем.

Сосредоточенно и зло Артем засунул в рот пальцы и с усердием дунул. Пораженная его поступком, оглохшая, девушка села на подвернувшийся стул. Марфуша ткнула кулаком Артему в затылок, рассерженно ругнула:

— Ополоумел? Что люди подумают!

Рывком распахнулась дверь, ворвался Мироныч. Глаза озорные, усы воинственно топорщатся.

— Что тут у вас происходит? — спросил он, поочередно оглядывая их. — Машенька, неужели ты?.. Попробуй еще.

В присутствии Мироныча девушка вздохнула свободнее. Лицо снова стало милым и приветливым.

— Так, случайно, — замялась она. — Развлекались. — Покосилась на Артема с опаской и добавила: — Молодой человек показывал, как он лошадей на улицах пугает.

Артем проглотил насмешку молча, только еще больше наступил.

— Понятно, — проговорил Мироныч, приглядываясь к Ар-

тему, хотя решительно ничего не понимал. Но расспрашивать не стал. — Сейчас я все подготовлю, — сказал Марфуша и скрылся за боковой дверью.

Машенька подсела ближе.

— Крутов много рассказывал о вас, — обратилась она к Марфуше. — Вы живете в каморках?

— В шестом корпусе, — ответила Марфуша и подозрительно спросила: — Что он мог говорить обо мне?

— Разумеется, самое лестное, — улыбнулась Машенька. — Было бы хорошо вовлечь в кружки и других работниц. Есть у вас на примете такие, на которых можно положиться?

— Найдутся, — не задумываясь, ответила Марфуша, хотя и не представляла, кого из подруг можно вовлечь в кружок.

— Побывала бы я у вас, так хочется...

— Дорога не заказана, приходите. Сто двадцатая каморка. Любой покажет.

Мироныч вынес два объемистых узла, с виду похожих на бельевые. Марфуша приподняла один и удивилась — такой тяжелый.

— Дня через два приготовим еще, — прощаясь, сказал Мироныч. — Передайте об этом Крутову.

Первый раз Марфуша смотрела на встречных людей, как на врагов своих. Но никому до нее не было дела. Ну что с того — идет молодая женщина с бельем, ей помогает брат.

Опять вышли к Семеновской площади, но не сели в трамвай, а направились оживленными улицами к Которосли. На берегу, неподалеку от Затона, где ремонтировались баржи для хлопка, приостановились. Здесь им надо было найти лодку с выщербленным веслом на борту.

Хозяином лодки был крючник с хлопкового склада Афанасий Кропин, который работал на ремонте баржи. Они должны были оставить узлы в его лодке, чтобы вечером, когда Афанасий поедет домой, перевезти их на остров и припрятать до времени в кипах хлопка. Кропин обещал Федору надежно склонить листовки.

«Она», — решила Марфуша, увидев лодку, выплывшую из-за барж. Под сильными гребками широкоплечего мужчины лодка стремительно шла к берегу. Человек поднял весла над водой и оглянулся. Марфуша узнала Кропина, которого видела, когда бывала на острове. На лопатке одного весла была заметна щербатинка.

— Сделайте такую милость, — громко попросила Марфуша, — на тот берег свезите.

Подка врезалась в песок. Марфуша и Артем быстро сели, и Кропин снова нажал на весла, направляясь к коровницкому берегу. Артем засунул оба узла в нос лодки, прикрыл их разной ветошью, оказавшейся под сиденьями. Кропин удовлетворенно кивнул.

Спустя два дня Марфуша снова пришлось идти за листовками. На этот раз без Артема. С собой она взяла корзину и узелок с углем. Листовки надо было доставить в каморки. Разложив их в корзине, она насыщала сверху уголь. На обратном пути в трамвае какой-то подозрительного вида господин в котелке все норовил встать поближе. На остановке трамвай резко затормозил, подозрительный субъект попятился и чуть не опрокинул корзину.

— Осторожнее! — крикнула Марфуша и сама испугалась — страшен был крик, не выдала ли себя.

— Что у тебя, яйца тут, боишься перебить? — спросил господин в котелке.

Марфуша уже совладала с собой, ласково сказала:

— Испачкаетесь, ведь уголь.

— Около такой молодайки и попачкаться приятно, — осклабился субъект.

«Тьфу! — даже несколько разочарованно подумала Марфуша. — Я-то ожидала — шпик. Бабник обычный!»

После этой поездки Марфуша сделала вывод, что перевозить листовки — дело пустяковое, нет ничего таинственного и опасного..

— Ax! Ax! — ужасалась Лелька Соловьева, в испуге тараща глаза на ребят. — Он, значит, за вами, а вы босиком по воде... Страху-то, поди, натерпелись?

— Было, — солидно сказал Егор.

Ребятам нравилось, что в глазах Лельки они выглядели героями. Марфуша чему-то улыбалась.

Занавеску откинули и оттого каморка выглядела большой и просторной. Марфуша и Лелька намазывали kleem черные лаковые буквы, Егор с Артемом наклеивали их на красное полотнище, расстеленное на полу. За окном сгущались сумерки, из коридора доносились голоса, шарканье ног. Там шла обычная жизнь рабочей казармы.

— Петька, — пронзительно кричала женщина, — я тебе, раззве, что наказывала?

Петька оправдывался, что-то бубнил. Потом все заглушалось треньканьем балалайки. Нестройно пели подвыпившие парни:

..Спросил, не клялась ли кому...
Она чуть слышно прошептала:
«Да, я поклялась одному».

Балалайка отчаянно звенела, плакала.

Ответ за деньги был откуплен,
Ее уж не спросили вновь.
Обряд венчанья продолжался —
Тут гибли счастье и любовь...

— А тебе, значит, отказались продать? Ну и что же ты? — спрашивала Лелька. Она перепачкалась kleem, движением головы то и дело откидывала волосы, спадающие ей на глаза, от волнения шмыгала носом.

Артем и Егор только что приехали из города. Ездили вот за этими самыми лаковыми буквами. Первым пошел в магазин Лобанова Артем, Егор остался ждать его у ворот Знаменской башни.

— Букв? Для чего-с? — сразу спросил приказчик, подозрительно уставясь на Артема. Неприятные, заплывшие глазки, смазанные лоснящиеся волосы, тело верткое, как у вынона. «Пропал», — решил Артем. Быстро оглянулся, чтобы в случае чего рвануться к двери. Подумал: «Знать, приметил вчера».

Вчера он тоже заходил сюда. Этот же приказчик отобрал шесть десятков лаковых букв, отдал, и Артем спокойно вышел из магазина.

— Разве вам не все равно, куда беру? — грубо отвечал он на вопрос приказчика.

— Полиевкт Михайлович! — крикнул тот. Из-за ширмы в глубине магазина показался худощавый человек с острой бородкой — хозяин. — Полиевкт Михайлович, молодой человек просит букв-с.

Хозяин тоже слишком дотошно оглядел Артема.

— Зачем вам буквы?

— У вас так заведено, чтобы покупатель отчитывался, для чего ему товар? — Артем говорил с достоинством, тонко усмехаясь, и хозяин смягчился.

— Не сердитесь, молодой человек. У нас такое указание. Должны спрашивать.

— Что ж, пойду поищу другой магазин, — небрежно сказал Артем и повернулся. «Только пройти пять шагов, а там уж никто не догонит: прыжок — и дверь». — Много вы так не насторгуете.

Никто не остановил его. Но от этого было не легче: буквы надо было достать во что бы то ни стало. А торгует ими один лобановский магазин. Оглянувшись еще раз для успокоения, он направился к Знаменской башне. Егор разглядывал афиши городского театра. В синей косоворотке, в пиджаке, наброшенном на плечи, в новых хромовых сапогах выглядел он внушительно.

— Ну всё? — спросил он. До этого они решили, что в магазин лучше идти Артему, больше похож на мальчика из хорошей семьи.

— Ничего, — хмуро ответил Артем. — Еще думал — задержат.

— Вот те на, — удивился Егор. — Стой здесь.

Он нахлобучил фуражку, неспешной походкой направился в магазин. Не прошло и десяти минут, как он с убитым видом вышел оттуда. Артем подумал, что опять ничего не вышло. Но вот Егор лихо заломил фуражку, подмигнул озорно.

— Порядок, — хвастливо заявил он. — «Бабушка Орина, куда же ты ходила?» — «В Нову деревню». — «Что в Новой деревне?» — «Курица в бане, петух в сарафане, утка в юбке, селезень в обутке, корова в рогоже, она всех дороже...» Я ему сказал, что хороним своего рабочего, буквы нужны для лент на венки. И порядок. — Показал завернутый в бумагу сверток. — Сто двадцать штук.

— Ловко, — позавидовал Артем.

Через торговые ряды шли они к трамваю и не видели, что сзади, не спуская с них глаз, пробирается господин в сером пиджаке, в щегольских клетчатых штанах.

В самую последнюю минуту ребята вдруг решили идти до фабричной слободки пешком, по берегу Которосли. Торопиться особенно было некуда, и они, миновав мост, спустились с кру-

той насыпи дамбы. Река уже вошла в берега, посветлела. Земля просыхала, проглядывала трава — нежная, мягкая.

Провожатый тоже спустился с дамбы. Держался сзади в сотне шагов.

Ребята сели, стали стаскивать сапоги — зачем рвать подметки. А тот кидал в воду камешки и всем видом своим показывал, что захотелось ему погулять по берегу, он и гуляет.

Забросив сапоги за спину, они тронулись дальше. Продолжая кидать камешки, человек направился следом за ними. Артему стало подозрительно, толкнул Егора.

На бугре снова сели, искоса поглядывали на провожатого. Тот замешкался, наклонился, будто завязывал шнурки у ботинок. Не было сомнения — за ними шел шпик и шел, по всей вероятности, от самого магазина.

— Сейчас мы его проучим, — весело сказал Егор.

Закатали штаны и свернули от берега в низину, напрямик к кожевенному заводу. Здесь еще стояла вода, в некоторых местах доходила до колен.

Незаметно оглядывались на провожатого. Тот метался по берегу, не зная, как быть. Разуваться не стал, прыгал с кочки на кочку. Но вот добрался до сплошной озерины. Делать было нечего, ноги промочены, возвращаться не было смысла, и шпик храбро шагнул в воду. Он еще брел по луговине, а ребята, выскочив на сухое место, бросились проулком на Большую Федоровскую к трамваю.

Уже были в вагоне, когда увидели, как из проулка выбежал вспаренный провожатый. Посмотрев на уходящий трамвай, он, видимо, догадался, что ребята успели сесть. Остановил проезжавшего извозчика и велел догонять.

— Придется прыгать, — сказал Артем. — Перейдем у Зеленцовского по мосту и к плотине, до фабрики.

Так и сделали. Шпик прозевал или не захотел преследовать дальше. До плотины они шли спокойно. Взволнованные и довольные заявились в каморки.

— Ах! Ах! — восхищалась Лелька. — У меня бы со страху ноги отнялись. — И смотрела влюбленными глазами на Егора.

..Вчера ей пели: «Многи лета»,
Сегодня: «Вечна память ей».
Вчера на свадьбе веселились,
Сегодня плачут все по ней, —

с надрывом орали в коридоре парни.

Артем наклеил последнюю букву. В сумерках на потемневшем полотне надпись выглядела красиво и таинственно. «Российская социал-демократическая партия». На какую-то минуту в каморке установилась полная тишина. Потом глубоко вздохнула Марфуша.

— Надо бы вздремнуть часок, ночью-то ой сколько придется маяться.

Спят каморки. Тишина и мрак в коридоре. Чуть светят лампады по концам его, зажженные с вечера. Лик божьей матери загадочный и грустный.

На кухне у широкой теплой печки — одной на целый этаж — буйно хранит сторож. У изголовья на грязном полу деревянная колотушка и початая бутылка водки. Вечером зашел на огонек к Василию Дерину — шибко кричали в каморке, хотел предупредить. Василий со своим соседом Топлениновым гуляли. По такому случаю поднесли и сторожу. Уходил, плохо соображая. Василий сунул ему в руки еще бутылку, орал: «Уважаю! Ночь у тебя долгая — тяни». Сторож даже не осилил.

Времени три часа ночи. Скоро забрезжит рассвет. Майское утро торопливое, подкрадывается незаметно.

Босые ноги осторожно ступают по железной лестнице. Тень бесшумно скользнула мимо сторожа, метнулась к одной каморке, к другой. В дверных ручках остаются белые листки.

Пора бы уж сторожу ударить в колотушку — будить первую смену. Скрипнула дверь одной каморки — не спится кому-то, действует годами выработанная привычка: подниматься в одно время. Человек удивляется: или еще рано? Почесался, зевнул и тут взгляд упал на белый листок. Что за оказия? Рука боязливо потянулась, глаз замечает черноту букв. Заспешил в каморку, вздул лампу. «Про-ле-та-ри-и всех стран...» — безмолвно шепчут губы. Пролетарий это тот, кто пролетел, что дальше некуда. Это у кого, кроме рабочей спецовки, есть матрац с подушкой да лоскутное одеяло. Ну чугунок еще для еды, чайник с обитым горлышком. У нищего нет и этого, но он и не пролетарий, он — нищий.

Бумажка утонула в мозолистом кулаке. Человек чувствует смутное беспокойство. Снова скрипит дверь. Робко стучится к соседу.

- Кузьмич, можно к тебе?
- Это ты, Маркел? Заходи.
- Кузьмич, листок у себя в дверях видел?
- Как же, видел.
- Объявляют сегодня праздник. Только для рабочих.
- Хорошо. — Слышился хруст суставчиков, долгий зевок.—

Можно и попразновать.

— Отчего не празновать... А что скажут на фабрике? Одним штрафом не отделаешься.

— Твоя правда, Маркел. Ругань сильная будет. Можно и за ворота вылететь.

— Вот я и говорю. А пойдешь на фабрику, вдруг другие не выйдут? Все-таки листок когда совали, знали, кто живет в каморке. Не скажешь, что не видел... Опять нехорошо может получиться.

— Да уж чего хорошего. Еще подлизалой объявят.

— Задача... И они умны, елки-моталки!

— Кто, Маркел?

— Да те, кто листок подложил. Нет бы зашли прежде: так и так, мол, давай празновать... Я бы еще подумал, что ответить.

— Складнее так-то было бы, Маркел. Да ведь кто это «они»?

Разве узнаешь.

— Что будем делать, Кузьмич?

— Хорошие сморчки пошли, Маркел. Люблю суп со сморчками. Объедение! Сходить разве?

— Ты так решил, Кузьмич?

— Ну, а что делать? Пока до Сороковского ручья топаем, солнышко выкатится. Собирайся да заходи за мной.

— А колотушка-то молчит, Кузьмич. Что бы это значило?

— Молчит, Маркел.

— Надо хоть бабу разбудить. А то опоздает на фабрику.

— Одни, что ли, пойдем, Маркел?

— Без баб-то складнее, думаю.

— Оно так. На первый раз и без них обойдемся.

По коридору несется оглушающий грохот колотушки — на-верстывает сторож упущенное время, торопится.

— Эй, выходи! Попспешай! — кричит в двери каморок.

— Где ты, дьявол, раньше был? — ругаются женщины и несутся на кухню, где с вечера стоит в неостывшей печи чай. Торопятся, гремят чайниками. В печке их десятки, поди-ка, сообрази, где он твой, распоклятый.

— Марья, мужик на работу пойдет или праздновать будет?

— Я ему, черту, попраздную.

— Будто сегодня не только у нас, а и в Питере и везде празднуют.

— Какое мне дело. Видно жрать есть, вот и празднуют.

— А мой еще в постели валяется. Уперся, как бык, только и ответ: «Сдалась мне эта фабрика...» И мне велит дома оставаться.

— Дура, если послушаешься.

— Не знаю, право, что и делать.

— Кузьмич! Не наберем мы сегодня сморчков.

— Это почему, Маркел?

— А ты посмотри, сколько людей идет. Гулянье в лесу будет, какие уж грибы.

— Всем достанется.

— Оно так... Лучше бы нам взять удочки. Вон ребята сидят. Наверно, не с пустом.

У Сороковского ручья, в тиши, привязана к кустам лодка. С веслами в руках сидит Егор Дерин — в праздничной красной рубахе с поясом, из-под картуза выбился пышный чуб. На корме с удочкой примостился Артем Крутов. Утро солнечное, веселое.

— Эй, дяденька Маркел! — кричит Артем, заметив рабочих на берегу. — Айда сюда, перевезем на ту сторону. Ландышей там полным-полно.

— Да на кой мне пес твои ландыши?

— У Иванькова собираются наши, дяденька Маркел. Песни петь будут и говорить, как жизнь устроена.

— Дьявольски плохо устроена, это я тебе точно скажу. Никуда не годится жизнь.

— Вот и пойдет там разговор, как сделать, чтобы по справедливости было. Наших много переправилось.

— Надо бы съездить, Кузьмич. Не беда, послушаем.

— Отчего не съездить. Не так уж часто собираемся без донгладуя.

Скрипят уключины, бьется о борт быстрая вода. Лодка ткнулась в травянистый берег. Артем соскочил, придержал ее, пока рабочие не вышли.

— Вон ель чернеет, туда направляйтесь.

И опять лодка режет воду, спешит на фабричную сторону. А к берегу все подходят, ворчливо сетуют:

— А говорят, ландыши появились. Где ж они?

— Так их же на том берегу полным-полно, — подсказывает Артем.

— Да что ты? — удивляются любители ландышей. — Сделай милость, перевези.

— Прямехонько вон к той ели направляйтесь, — напутствуют ребята своих пассажиров.

Снова ждут. Многих перевезли, но Федор наказал: раньше восьми не уходить. Артем то и дело поглядывает на большие карманные часы — даны в пользование на целое утро, — каждый раз говорит одинаково:

— Терпеть надо.

На берегу показался Андрей Фомичев под руку с чернявой женщиной. Волосы кольчиками свисают ей на лоб. Она кидает в рот семечки и томно поплевывает. На плече у Андрея новенькая гармонь.

— Куда народ подевался? — недоумевает он. — На фабрике мужиков — шаром покати. Говорят, сюда двинулись.

— Вот и мы удивляемся. — Артем пожимает плечами, изображает растерянность. — Думали, гулянье будет, прикатили с Егором... Видать, все к Чертовой Лапе подались.

— Так там еще воды полно! — удивляется Фомичев. — Шагу ступить нельзя.

— Коли пошли, значит можно ступить.

Егор пристально и зло смотрит в спину Андрея, который нерешительно повернулся налево, в сторону болота. Артему даже знобко от ненависти, которую он видит в глазах друга.

— Утопить его в трясине и делу конец, — шепчет Егор.

— Наши сами решат, что с ним делать. Как-никак — человек.

— Паскуда, а не человек. — Егор перегнулся через борт, плеснул воды на обожженное весенним солнцем лицо. — Таких только в болоте и топить.

Артем вынимает часы. Потом смотрит на берег — никого. Егор понял его без слов, развернул лодку, налег на весла. Пять

взмахов — и на той стороне. Артем замотал якорную цепь за куст. Придирчиво осмотрел себя и Егора — на народ, чай, идут, — побежали к лесу, где собирались на маевку фабричные.

- Кузьмич, а ты со мной больше не хитри.
- Не пойму тебя, Маркел.
- Ну как же! Знал ведь, что здесь будет сходка?
- Знал, Маркел.
- Вот видишь, а мы корзинки с собой... Неудобно получилось.
- Спрячем их в куст. На обратном пути захватим.
- Смотри-ка, и женщины есть. Что же мы своих баб не взяли?
- Не последний раз, Маркел. Я понимаю, это только начало. Постой-ка... Здорово, Федор Степанович!

Навстречу им вышел Федор Крутов, торжественный и взволнованный — наверно, от озабоченности: впервые придется говорить на сходке. Русая бородка подстрижена, волосы аккуратно расчесаны. Новая сатиновая косоворотка с шелковым пояском — кисти до колен. А начищенные сапоги отражают солнце.

На лужайке, залитой светом, стояли и сидели группами человек около пятидесяти. Хлопало на легком ветру красное полотнище, рябила в глазах надпись из черных лаковых букв: «Долой самодержавие!» Знамя придерживал Василий Дерин. Такое же полотнище, но уже с надписью: «Российская социал-демократическая партия», привязывала шнурком к березовой сырой палке Марфуша. Ей помогал Родион Журавлев.

— Здорово, Алексей Кузьмич! Здорово, Маркел Андрианович! — радостно отвечал Федор подошедшем рабочим. — Располагайтесь пока.

Второе знамя было прикреплено. Марфуша с усилием подняла его над головой. На помощь подоспел Родион. Она ворчливо толкнула его, стояла, запрокинув голову, разглядывая бьющееся на ветру и освещенное солнцем полотно. Рабочие подходили, вставали плотно, дышали в затылки. Федор стал говорить. Он поздравил фабричных с первой маевкой, сказал, что пока их собралось еще мало, но будет время — все карзинкины встанут под красные знамена.

На поляне появились запыхавшиеся — бежали от самой реки — Артем и Егор. Увидев, что сходка началась, попробо-

вали пробиться вперед; сзади стоять какой толк, ничего не увишишь.

— Говорил, раньше надо, — упрекнул Егор приятеля.

Облюбовали старую березу на краю поляны, торопясь, полезли. Артем кое-как приладился на толстом сучке, обхватил руками ствол. Мешали смотреть ветви с молоденькими клейкими листьями, к тому же полотнище в руках Марфуши заслоняло отца.

— Мы требуем справедливых законов, — доносился его сильный голос. — Сегодня по всем городам рабочие отмечают свой праздник. Сейчас мы пойдем, чтобы соединиться с рабочими других фабрик и заводов города. Наша сила в сплоченности, в поддержке друг друга...

Отцу кивали согласно. Артем увидел дядьку Маркела, лицо у того застыло в напряжении, солнце было ему прямо в глаза, и он прикрывался рукой. У Марфуши рот полуоткрылся, улыбалась невесть чему.

Отец кончил говорить, вышел из круга и встал рядом с Василием Дериным. Все зашевелились, рядами стали строиться в колонну. Артем с Егором быстрехонько скатились с березы.

На этот раз сумели пробиться вперед.

Рабочие шли молча, сосредоточенно, слышно было, как шуршала под ногами прошлогодняя трава.

Миновали стороной деревню Иваньково. Еще издалека заметили среди редких зеленеющих деревьев большое скопище народу. Там над головами людей тоже вздымались флаги.

Карзинкинцы невольно прибавили шагу. Колонна городских рабочих двинулась им навстречу. Впереди шло много молодежи в студенческой форме, мелькали яркие платья девушек. Студент без фуражки, темноволосый — не иначе, Миронич — взмахнул рукой.

Карзинкинцев встретили криками «ура!».

Рабочие стояли тихо, не переговариваясь, смотрели на окна. На улице лил густой крупный дождь. Наверно, каждый думал, что неплохо бы после фабричной духоты подставить непокрытую голову под этот сплошной поток.

Из кабинета директора вышел конторщик Лихачев.

— Так-с... — проговорил, ощупывая взглядом каждого. — Все в сборе? — Развернул список. — Маркел Андрианов Калинин! — Лихачев поднял глаза от бумаги, зловеще уставился на шевельнувшегося пожилого рабочего. — Первого мая не вышел на работу. Где был?

— За сморчками ходил, — с готовностью откликнулся мастеровой. — Старуха просила — захотелось сморчков ей. Старуху решил уважить.

— Так-с... Штраф восемьдесят копеек. Но, учитывая безупречный отзыв мастера, записать в штрафную книгу пятьдесят копеек.

— Премного благодарен, господин конторщик.

— Василий Михайлов Дерин.

— Я самый. — Дерин выступил вперед.

— Где был?

— Корову присматривал. В Починках корова по дешевке продавалась.

— Зачем тебе корова? Где держать будешь?

— Хо, зачем! Доить буду. А держать... Чего сейчас не держать — лето. Пусть на привязи бродит.

— Так-с... Егор Васильев Дерин, ставельщик. Сын тебе?

— Как же, первенец. Тоже с собой брал.

— В штрафную книгу восемьдесят копеек. Обоим.

— Понятно, — заявил Василий.

— Так-с... Алексей Кузьмичев Подосенов. Первого мая прогулял. Где был?

— Головы поднять не мог. Накануне сильно выпимши был.

— В штрафную книгу восемьдесят копеек.

— Федор Степанов Крутов. В штрафную книгу восемьдесят копеек.

— Марфа Капитонова Оладейникова. В штрафную книгу восемьдесят копеек.

— Родион Егоров Журавлев. В штрафную книгу восемьдесят копеек.

Список был большой. Лихачев торопился, глотал слова. Слушали его невнимательно.

— Андрей Петров Фомичев...

В толпе рабочих произошло движение. Оглядывались на Фомичева, стоявшего сзади у двери.

Конторщик отчеканил твердо:

— В штрафную книгу восемьдесят копеек.

Лихачев продолжал выкликать по списку. Наказание было предусмотрено для всех одинаковое — штраф восемьдесят копеек, дневной заработка хорошего мастерового.

— Так-с... — Конторщик прошелся перед плотной толпой людей, угрюмо разглядывавших его. Он явно важничал. — За массовый прогул могли вылететь с фабрики, — сообщил он. — Кланяйтесь в ножки вашему благодетелю.

С этими словами скрылся в кабинете. Почти тотчас же вышел. Распахнул дверь.

— Входите. Господин директор желает сделать отеческое внушение.

Подталкивая друг друга, потянулись в кабинет. Грязнов — в темном сюртуке, в белоснежной рубашке с галстуком — сидел в кресле, пытливо присматривался к каждому.

Рабочие конфузливо жались к стенам. Все не уместились, некоторые стояли в раскрытых дверях. Ждали, когда Грязнов соизволит говорить, посматривали на стену, на портрет большелобого человека с резкими морщинками в углах рта — основателя фабрики Затрапезнова. Маркел толкнул приятеля:

— Кузьмич, глянь, неужто такие длинные волосы носил? Ведь не девка.

— То не волосы, — шепчет Подосенов. — Парик называется, вроде шапки на голову нахлобучивают.

— Скажи ты! Придумают люди!

Грязнов что-то выжидал. Молчание становилось тягостным. Вот резко поднялся с кресла, прошел к окну, распахнул рамы. Дождь уже кончился. С улицы ворвалась свежесть. Стал слышен гул фабрики.

Повернулся к рабочим, спросил зло, в упор:

— Кто работал на фабрике раньше девяносто пятого года? — Пождал, с удовлетворением отмечая, что под его взглядом опускают глаза, робеют. — Вот ты... Дерин, — с запинкой указал на Василия. С языка чуть не сорвалась фамилия Крутова. С ним он не хотел сейчас спорить. А что Крутов ввяжется в спор — знал. «Неумная Варька, — подумал с раздражением. — Будто мало людей своего круга». Намеками Грязнов пытался дать ей понять, что подобные увлечения добром не кончаются. Вроде прислушивалась, а после опять ее видели с Крутовым.

— Скажи мне, Дерин, была ли раньше такая больница при фабрике? — спросил с ударением на слове «такая».

Не понимая, к чему он клонит, Дерин сказал:

— Не было, господин директор. — И на всякий случай польстил: — При вас она появилась, такая.

— Ну не совсем при мне, — отказался от излишней чести Грязнов. И опять спросил: — А может, было фабричное училище?

— Не было училища, господин директор.

— Вот о том и речь, — назидательно сказал Грязнов. Если до этого он еще не знал, как пойдет разговор, то сейчас постепенно приобретал уверенность: мастеровые вели себя скромно, Дерин отвечал с готовностью. Мельком глянул на Крутова. Тот был серьезен, пощипывал в задумчивости стриженую бородку.

— Очень многое тогда не было. Воспомоществования по болезни были? Не было. Только ленивые умы да крикуны, не желающие работать, не хотят замечать благодатных перемен, которые происходят на фабрике. Если предприятие дает дополнительную прибыль, у владельца появляется возможность расходовать лишние средства для улучшения жизни рабочих. Поэтому что должен делать рабочий?

— Работать, — подсказал кто-то.

Грязнов удовлетворенно кивнул.

— А у нас находятся смульяны, которые разжигают ненависть к владельцу фабрики. Вот вы подумайте, закроет Карзинкин фабрику, куда пойдете?

— Некуда, верно, — со вздохом откликнулся Маркел Калинин.

— Позвал я вас, — миролюбиво продолжал Грязнов, — чтобы договориться раз и навсегда. Ваши родители, деды, прадеды годами создавали славу Большой мануфактуре. Изделия, сделанные их руками, ценились по всей России. Неужто мы так неблагодарны, что будем разрушать дело их рук? Я верю, что все вы ответите: нет и нет. Я верю в честность русского рабочего, в его порядочность. Верю, что потомственный рабочий остановит смульяна. Он возьмет его за шиворот и скажет: «Не мешай! То, к чему ты призываешь, ведет к запустению, к обнищанию страны, а значит, и моей семьи. Я хочу добросовестно работать, содействовать прогрессу, расцвету промышленности и благополучию своей семьи».

Высказав уверенность, как должен ответить порядочный рабочий смульяну, Грязнов расчувствованно оглядел лица собравшихся.

— Вы не согласны, Крутов? — живо спросил он, заметив, что Федор как будто порывается возразить.

— Не согласен, — охотно заявил мастеровой. — Когда ваш рабочий возьмет смутьяна за шиворот, он пусть добавит, что прежде всего содействует обогащению хозяина. Полчаса назад нам показывали, из каких источников пополняется карман Карзинкина.

— Не делайте вида, что вы ничего не поняли, — зло сказал Грязнов. — Кстати сказать, штрафные деньги находятся в фабричной кассе и опять-таки идут на нужды рабочих.

— Какие нужды? — справился Федор.

Грязнов ударили ладонью по столу, возмущенно сверкнул глазами.

— Повтори ему, Дерин, что сделано для рабочих в последнее время.

Василий выступил вперед и, загибая пальцы, перечислил:

— Выстроен больничный городок, господин директор. Сработано фабричное училище. Дают воспомоществование по болезни... Последнее достоверно: сын у меня покалечился на фабрике — получал воспомоществование. Двадцать дней по пятнадцать копеек получал. Так что ползмы провалялся.

— Могли и больше начислить. Видно, сам был неосторожен.

— То же и в конторе сказали, — охотно подтвердил Дерин. — Поспорил я маленько, да без толку.

— Могла быть ошибка, — пошел на уступку директор и, боясь, как бы Дерин не стал продолжать разговор о сыне, поднял руку, попросив внимания. — Вы потомственные рабочие, гордость Большой мануфактуры. Поверьте, мне было больно, когда контора сообщила о массовом прогуле. Я думаю, что на этот неблаговидный поступок вас толкнули люди, которые имеют себя социалистами. Ваш прогул мог иметь серьезные последствия. Метнул мимолетный взгляд в сторону Фомичева. «Обвели дурака вокруг пальца, — с неприязнью подумал о нем. — Не сумел ничего вызнать».

Знай Грязнов твердо, что все эти рабочие были на маевке, рассусоливать бы не стал: троих-четверых выкинули бы за ворота. В назидание! А когда одни догадки, крутых мер не примешь, только вызовешь недовольство.

— Я говорю прямо: последствия могли быть очень серьезными, — повторил он. — Но я не хочу ссоры. Я жду, когда вы не то что будете поддаваться влиянию безответственных людей,

но станете сами пресекать смути. Администрация фабрики ценит ваше умение и будет ценить впредь. Прибыли прошлого года — мы уже получили согласие владельца — позволяют сделать некоторую прибавку отдельным рабочим. Не скрою, мне очень хотелось, чтобы все вы попали в это число. Некоторые из вас могут стать старшими рабочими с более высокой оплатой. Все зависит от старания. Подумайте об этом. Сейчас контора разрешила потомственным рабочим получать ссуды на строительство своих домов. Пора выбираться из каморок! От каждого из вас контора примет заявку, я распоряжусь об этом.

В окно врывалась прохлада, а директору было душно. Повел шеей, будто хотел вылезть из воротника. Присматривался к лицам и все думал: сумел ли убедить? Что останется в их головах от этого разговора?

— Я вас отпускаю. И хочу, чтобы вы помнили: нам ссориться незачем. Просто невыгодно.

Толкаясь, рабочие вышли из конторы, облегченно вздохнули.

— Ну и дела, браты мои, — говорил Дерин. — Сначала оштрафовали, а потом... Насулено-то сколько! Заживем теперь. Кого же из нас, как Фомичева, старшим поставят?

— Что мне было — отказываться? — хмуро огрызнулся Фомичев.

— Зачем же, старайся.

— Хоть и старший, — оправдываясь, сказал Фомичев, — а не посчитались, оштрафовали вместе со всеми. Главное, и не был с вами.

— Не лез бы в болото, — наставительно сказал Дерин. — Чего тебя в Чертову Лапу потянуло.

— Ваши ребята указали.

Федор подмигнул Дерину.

— Ребята знают, чего человеку надо.

— Кузьмич, а славно мы пели, когда стояли с городскими под знаменем.

— Славно, Маркел. Памятно.

— Кузьмич, одного не пойму: лицеист говорил, что надо сбросить царя. Как же без царя? У стада есть пастух, у звезд и то свой царь — месяц. А мы без царя. Кого слушаться будем?

— Выборные у нас будут от народа. Вместо царя, значит.

— Так все равно кто-то из выборных должен старшим быть.

— Ну и выберут из них старшего.
— Опять-таки будет царь. Я-то думал, как же?.. Народный, а все же царь. И что захочет, то и будет делать. Подумает меня засадить в кутузку, и ничего ты ему не скажешь. Все у него в подчинении.

— Зарвется, снимут.

— А как это снимут? Попробуй сними, когда он главный. Он помощников себе подберет. Сними тогда его.

— Кто бы ни был — снимут, — неуверенно повторил Подосенов. Почесал затылок. Верно ведь говорит Маркел: не просто будет сладить с человеком, который стоит у власти. Для одних он хорош, для других — плох. Снимай его, если те, для кого он хорош, встанут против. Задача. Надо будет расспросить об этом Крутова.

Сказал Маркелу:

— К тому времени, когда ставить будут, придумают для него узду.

— Царю до сих пор не сумели придумать, — не сдавался Маркел.

Просыпался у Маркела дремучий ум, требовал объяснения многому.

— Ладно, увидим того лицеиста, обо всем расспросим.

— Это будет дело... Кузьмич, директор говорил: старшим рабочим может назначить. Почти тридцать рублей жалованье. Неплохо бы тридцать рублей.

— Неплохо, Маркел. На тридцать жить можно.

— Но ведь не просто так назначат. За какие-то услуги, видимо?

— Это, Маркел, несомненно. Душу прежде продашь.

— Тогда ну их к бесу, Кузьмич. Проживем и так.

— Честнее будет, Маркел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



1

Слушали ораторов, кричали: «Правильно! Все правильно говорит, какая уж у рабочего жизнь!» Попели запрещенные песни. И снова наутро на фабрики и заводы, в изнуряющую душоту. Как будто ничего и не было накануне. Только уважения к себе прибавилось: что ни говори — сила; всем-то так выйти на улицы — кто против устоит, никаких войск не хватит. Самые горячие шептали: скоро-де придет такое время — остановятся фабрики и заводы и лопнет самодержавная власть.

Полиция считала, что ждать того времени нечего — спешила. Вызывались те, кто прогулял в первый день мая. Вопросы для всех одинаковые: был ли в лесу, кто верховодил маевкой? Доподлинно известно, что весь «Северный союз» арестован. Не действует ли другая, еще не известная организация?

Многих уволили, самых неблагонадежных отправили в Ковровники, и в городе, окутанном дымом фабричных труб, опять воцарилась благодатная тишина. По утрам чиновники заполняли конторы, в торговых рядах лавочники, на которых пробы негде ставить, божась и ругаясь, сбывали завалявшиеся плесневелые товары. Пьяная ругань неслась по окраинным улицам.

Успокоилась полиция: все пришло в норму, все стало на свои места.

Но затишье длилось недолго. В день столетнего юбилея юридического лицея студенты собрались у памятника Демидову, пели «Дубинушку» и кричали «Долой полицию! Долой самодержавие!» Звали собравшуюся толпу пройти с красными флагами к фабрике Карзинкина и, соединившись там с рабочими, предъявить политические требования губернатору.

Шестерых зачинщиков выпроводили из города.

Около двенадцати ночи перед отходом почтового поезда на Москву, с которым отправлялись провинившиеся, на перроне вокзала собралась толпа. Из окна вагона лицеисты по очереди произносили речи, благодарили провожающих за сочувствие, говорили, что они, высываемые, мученики идеи, которая восторжествует, несмотря на все гонения. Речи прерывались восторженными криками. Прибежавших городовых толпа оттерла, заявив, что им тут не место.

Издали наблюдая за происходящим, городовые отметили, что среди провожающих выделялся господин в платье акцизного чиновника. Он больше всех кричал и своим поведением сильно возбуждал толпу.

Господин оказался чиновником городского акцизного управления Николаем Морошкиным. За шумные действия Морошкин получил по службе строгий выговор и затем был переведен в глушь, в Пощеконский уезд.

Потом губернатору поступил рапорт полицмейстера Пузырева. Писал главный полицейский города, что в лицее не прекращаются беспорядки, что-де выпускается там журнал «Студент и рабочий», в котором много противоправительственных высказываний.

Становилось ясно — в лицее действует преступная организация. После тщательной слежки в конце концов напали на верный след. Некий гимназист Леонид Волков, имеющий связь с полицией, познакомился кое с кем из лицеистов и указал на них как на членов тайного студенческого комитета. Принад-

лжность указанных лиц к тайному сообществу подтвердила квартирная хозяйка Гензель, которая заметила, что во время обеда эти студенты всегда что-то читали, причем случалось, когда она входила к ним, прятали отпечатанные бумаги.

Двенадцать указанных лиц были спешно выдворены под гласный надзор в Вологду.

Не успела полиция разобраться с лицеистами, в городе появились прокламации Северного комитета РСДРП. Прокламации были напечатаны хорошим шрифтом.

Губернатор Рогович вызвал начальника охранного отделения полковника Артемьева и в сильном возбуждении показал ему кукиши.

На ноги подняли весь сыск. Наконец поступило сообщение, что типография обнаружена.

Урядник нового поселка по Сузdalскому шоссе заметил странное поведение квартирников госпожи Сергеевой: никого к себе не допускают, ни с кем не знакомятся. Вечером урядник и сотский пробрались через забор к самому дому, однако разговоров никаких не услышали, окна были занавешены толстыми тканями. Урядник не успокоился и на следующий вечер продолжал наблюдение. Тут ему и послышался шум машины. Прокравшись к крыльцу, он увидел человека, схватил его и выпроводил на шоссе, чтобы тот не подал знака. В доме была найдена типографская машина, разные печати и большая пачка прокламаций.

В эти напряженные для полиции дни и началась война с Японией, которая должна была всколыхнуть патриотические чувства населения и вытравить крамолу. Но с фронта утешительного приходило мало. Неуспех армии только усилил брожение. Пристав Цыбакин доносил, что на фабрике Карзинкина ткач Иван Митрохин читал письмо своего брата с полей Маньчжурии, а потом кричал, что генералы пьянствуют с великим князем Кириллом, а не смотрят за делом, и что главный виновник бед народных государь император и его надо прогнать с престола, а на его, мол, место найдутся достойные кандидаты — рабочие.

Пока листовки призывали рабочих бастовать, еще было ничего, по крайней мере, привычно, но коли вслух стали непочтительно говорить о царе — это уже никуда не годилось.

Артем книжки в охапку и из училища вон. Сбежал с широкого каменного крыльца с фонарями на столбах и на миг растерялся, не зная куда пойти. В каморках едва ли кого застанешь, домой не хотелось.

Вчера полдня сыпал снег, и слободка принарядилась. Пуховые шапки белей белого висели над карнизами домов. Деревья в инее, каждая веточка сверкает, искрится на солнце. Воздух сухой, звенит.

От казенки, что ближе к магазину Подволоцкого, доносились крики. Там на заплеванном и притоптанном снегу парни играли в шары, на деньги. Артем направился к ним поглазеть — сам неплохо играет, только не на деньги, на конфетные обертки.

Людей сегодня на улице, как в праздник. Обшарпанная, с лохмотьями войлока дверь казенки почти не закрывается. Одни входят, другие чуть ли не ползком вместе с клубами пара вываливаются на крыльцо. Не без помощи постороннего вылетел на снег тощий, оборванный мужик, в пиджаке на голое тело, в опорках на босу ногу — хромой Геша, возчик булочника Батманова, известный в слободке пьяничужка и задира. Чуть погодя, описав дугу, шлепнулась рядом с ним шапка.

Геша с трудом встал на карачки, поднял всклокоченную бороду.

— Нешто есть право толкать! — крикнул плачущим голосом. — Разбойники!

Попытался выпрямиться — ничего не вышло, ноги не держали, свалился на спину. Лежа, вдруг заорал во всю мочь:

Стреляй, солдат, в кого велят,
Убей отца, родного брата,
Убей жену, убей детей,
Но помни памятку солдата...

Из казенки, пошатываясь, вышли крючники. Все рослые, под притолоку, мужики. У каждого за голенищем валенка железный крючок для работы с хлопком. Посмотрели на пьяного воющего оборванца — не понравилось, стали останавливать:

— Молчи, обиженный, душу гложешь!

Геша скосил на них заплывший глаз, притих. Но едва крючники отошли, опять завыл:

Поны тебя благословят,
Убьешь отца — греха не будет.
Они не врут, коль говорят:
Бог вашу службу не забудет...

У Артема мураски по телу пробегали. Вот так Геша! Откуда такую песню знает? Ни в одной книжке не найдешь. Крючники вернулись. Один, мрачный, заросший, занес над Гешей кулачище, пригрозил:

— Слыши, убогий, не тревожь!

Парни уже не до шаров, сгрудились, смотрят. Люди, идущие по своим делам, тоже сворачивают к казенке. Толпа растет.

— Разойдись! — вдруг несется за спинами. К пьяному проталкивается городовой Бабкин — длинная шинель с ремнями накрест, шашка, бьющая по ногам. Глаза круглые, усы заиндевели, шевелит ими — ну чисто кот, которого вспугнули с лежанки. — По какому слucha-а-ю?

Удалось наконец протиснуться, схватил Гешу за шиворот, поднял. Тот не стоял, ноги подгибались, вжал голову в плечи — смотреть и смешно и жалко. Бабкин ухватил его поудобнее, поволок — видно, в кутузку.

Геша силился сохранить сползающие опорки, поднял колени к подбородку, придерживал руками. И главное не унимался, кричал:

...Стреляй, солдат, коли штыком,
Кусай зубами, бей прикладом...

Толпа двигалась следом. Парни вдруг переглянулись, гикнули:

— Наших бьют!

Бросились на городового, вырвали Гешу.

— Леший с вами, — устало сказал Бабкин, отдуваясь. — Нынче все полоумные.

Геша совсем осмелел, тешит народ:

А у нас на троне
Чучело в короне.
Вот так царь, вот так царь —
Чучело в короне.

Смеются парни, смеются крючники. Радуется Артем. Куда интереснее, чем в училище. Диво-дивное: Геша царя хулит, и ничего, никто его не обрывает.

Смотрит — шагает по мостовой с сумкой в руке Лелька Соловьева. Знать, с базара. Окликнул:

— Подожди, Лельк.

— Ась! — отозвалась девчонка. На длинных ногах подшипные, с рваными голенищами валенки. Неприкрытые голые коленки посинели, покрылись пупырышками. Пальтишко из отцовского пиджака скроено, шапка тоже отцовская, налезает на лоб.

— Ты меня? — спросила Лелька и мигнула Артему озорным глазом.

— Кого же больше! — удивился Артем. С подозрением уставился на нее: чего вздумала мигать? — Егора видела?

— Ась! — Лелька рассеянно оглядывается по сторонам. — Вчера видела. Утреся на фабрику пошел — видела. С Работновым Васькой... Отгадай загадку: на плешь капнешь, о плешь ляпнешь, с плеши долой.

— Ты сегодня какая-то глупая, — заметил Артем.

— Сам дурень, — огрызнулась Лелька. — Блин это, вот что. На плешь, на сковороду, теста капнешь, о плешь, о сковороду, второй стороной ляпнешь, и с плеши, со сковороды, долой. А еще ученый!

Показав язык, Лелька повернулась неторопливо, напоследок крикнула:

— А тебя батяня ищет. Встретила, так спрашивал. Порку задаст.

Артем не знал, верить или не верить. Вроде не за что порку-то. На всякий случай побежал к дому.

Отец куда-то собирался — в чистой белой рубашке, выбритый. Похоже, не работал сегодня.

— Знаешь, что я слышал! — с порога возбужденно объявили Артем. Хотел рассказать, как орал Геша у казенки.

— Знаю, сынок, — негромко ответил отец. Сегодня он почему-то казался чужим, странным. Глаза запали, как после бессонницы. — В Питере царь на рабочих руку поднял. Уйму людей пострелял...

Зимний звездный вечер. Мороз. В тишине гулко скрипит под ногами снег. Двое спускаются с крутого склона к берегу реки, то и дело оступаются на узкой тропке, проваливаются

чуть не по пояс. Постоят, оглядятся и опять делают осторожно шаг за шагом.

На крыльце бревенчатого приземистого дома, что под самым склоном, кутаясь в шубу, стоит в тени человек. Он всматривается в идущих — может, не те, кого ждет.

Двое направляются к дому, старательно стукают валенками, сбивая с них снег. Человек выходит им навстречу. Это хозяин дома Иван Калачев.

— Что так долго? — глухо спрашивает он.

Перед ним Мироныч и Федор Крутов. Мироныч усмешливо откликнулся:

— А ты думал, легко уйти от Милюкова? Уговаривал на чашку чаю. Еле отбились.

— Удалось выступить? Допустили?

— Все было, как задумали.

— Здорово выступил, — подтвердил Крутов. — Сейчас еще, видимо, затылки чешут. Досталось питерскому барину на орехи.

— Чай, полиция была? Как же ушли?

Мироныч засмеялся, вспоминая.

— Полицейских крючники затолкали меж кресел. Останавливать было некому. Мы огляделись да сразу сюда.

— Ну, давайте в дом. Ребята там затомились ждавши. Ко мне на смену вышлете потом Костю Сляднева.

Мироныч и Крутов возвратились с публичного собрания, которое устроила городская дума. Заранее было известно, что из Петербурга приедет Милюков, тот самый, что сколачивает новую партию — конституционно-демократическую.

И вот обширный, с тяжелыми люстрами думский зал набит битком. На возвышении стол, длинный, крытый зеленым сукном. За ним в креслах почтенные люди города. Председательствует угрюмый, с квадратным раздвоенным подбородком городской голова Вахрамеев — брат Вахрамеева, любителя скачек.

Милюков на трибуне. Рассказывает, отчего Россия терпит поражение в войне с Японией. Попутно зачитывает основные положения программы самой лучшей, самой разумной партии из всех бывших и ныне существующих. Каждый из присутствующих может быть зачислен в ее ряды. Думайте, господа, и спешите!

Все нынешние партии призывают бороться с самодержавием, они совершают преступление перед народом, толкая его на путь кровавой революции. Конституционно-демократическая

партия пойдет по пути постепенного и мирного завоевания прав народных.

Милюков бросает в зал смелые обвинения. Он распален, воинственно топорщатся пышные пшеничные усы.

— Ответственность за поражение на фронтах несут социал-демократы. Это они вынуждают рабочих бастовать в столь тяжелое время, это они подговаривают крестьян отбирать у помещиков землю. Россия и царь страдают от смуты...

В зале нарастает гул. Прислушаться к одним — одобряют, послушать других — в пору уходить с трибуны.

Напротив входных дверей ряды заняты карзинкинцами. С откровенной скучой на лице возвышается крючник Афанасий Кропин. С боков и сзади на ряд — дюжие парни, его товарищи по работе на хлопковом складе. Здесь же Василий Дерин, Крутов. Все одеты спроста, но чисто. Пальто никто не снимал. Ждут не дождутся, когда Милюков закончит речь.

Сзади на последних рядах виднеются мундиры полицейских. Собрание публичное, разрешенное губернатором, но присмотр нужен.

Милюков наконец садится рядом с председателем Вахрамеевым. Тщетно звонит колокольчик, зал никак не утихомирится.

Но вот по проходу идет студент. Он бледен, рот крепко сжат. Милюков встречается с ним взглядом и благодушно приглаживает усы.

Что может возразить ему этот молодой человек?

— Партия народной свободы обещает добиваться конституционных прав по возможности. Восьмичасовой рабочий день осуществлять по возможности. В случае надобности, крестьяне получают землю по справедливой цене — сто рублей за десятину. Платите пять миллиардов рублей и земля ваша...

Однако у этого студента голос тверд и есть ораторский на-вык, приводит цифры — значит, говорит не с налету, готовился. На лице Милюкова проявляется интерес. Настороженно прислушиваются и почтенные люди за зеленым столом.

Мироныч трясет затрапанным блокнотиком.

— А вот что говорит господин Милюков о войне. — Голос становится беспощадным. — Царь-батюшка страдает... Четыреста тысяч солдат уложил он, бедный, из-за лесопромышленных предприятий, которые устраивал в Корее! Два миллиарда народных денег пришлось ему, бедному, посеять в Маньчжурии и утопить в океане по этой же самой причине. Рабочих с женами

и детьми принужден был он, бедный, расстрелять в Петербурге, когда они дерзко посмели огорчить его царское сердце просьбой о помощи...

Последние слова потонули в реве, в топоте ног. Топали в передних рядах благонравные чиновники, топали за председательским столом.

— Я лишаю вас слова, — загремел Вахрамеев. Он зол, он готов рвать Мироныча на части. Посметь оскорбить государя императора! Здесь ярославская дума, а не английский парламент.

На лице Мироныча терпение. Ждет, когда можно продолжать. Поднял руку, возмущенный гул стал еще сильнее.

— День девятого января раскрыл глаза рабочим. Они поняли...

Председатель швырнул беспомощный колокольчик, поискав глазами полицейского пристава. В зале творилось невообразимое. Какие-то рослые люди оставляли кресла, запружали плотной стеной проходы.

Ко всему мигнул и погас свет.

Темнота усилила суматоху. В разных местах загорелись спички. Дальше ждать нечего. Мироныч спрыгнул с возвышения в зал. Перед самым носом спичка осветила озабоченное лицо Федора Крутова. Схватил Мироныча за руку, потащил к выходу.

Когда зажегся свет, публика рванулась к двери. Напрасно призывал Вахрамеев успокоиться и продолжать собрание, его не слушали. Боязливо косились на рабочих: чего доброго, бомбу кинут.

Афанасий Кропин и Василий Дерин сдерживали тучного пристава, стараясь затолкать его в проход между рядами. Пристав цеплялся за подлокотники кресел, упирался, рассерженно сопел. Самое удивительное было то, что борьба проходила молча. Пробирающиеся к нему на выручку помощники оказались притиснутыми к стене, далеко от дверей.

Федор и Мироныч смешались с толпой и выбрались из зала. Тогда Афанасий Кропин поднял над головой шапку — пора уходить. Стараясь не отрываться друг от друга, рабочие двинулись к выходу. На улице не задерживаясь расходились в разные стороны.

Мироныча и Федора до самого склона провожали Афанасий Кропин и Василий Дерин.

В жарко натопленной комнате при слабом свете привернутой лампы сидели человек двадцать. Говорили вполголоса, больше потому, что за дощатой перегородкой спали дети. Оттуда, из полумрака, белым пятном виднелось застывшее в напряжении лицо хозяйки дома. Слушала, стараясь не пропустить ни слова, дивилась. Первый раз видела у себя столько незнакомых людей. Служалось, к мужу заходили приятели, с которыми работал в судоремонтных мастерских, приносили водку, спорили, пели песни. Эти говорили степенно, друг друга не перебивали. А по обличью видно — тоже мастеровые. О Мироныче, сидевшем в красном углу, под иконами, думала с любопытством: «Не из простых, наверно, чешет-то больно складно, как по книге. Пришел позднее, вместе вон с тем, русобородым, что пристроился на корточках ближе к порогу, — сразу к ней: «Здравствуйте, Анна Васильевна!» Поди-ка, зараньше вызнал, как зовут. Обходительный!»

Не спускала с него глаз, все хотела понять, что он говорит. Видно, смелый, если не побоялся при всех в городской думе сказать, что воевать с Японией русскому народу вообще незачем, а если царю нужна война, то пусть он один и воюет, опыта ему не занимать — расстрелял же он безоружных рабочих перед своим дворцом.

«Господи! — безмолвно шептала Анна Васильевна. — Де-тишек-то неповинных за что? Малые, неразумные...»

Представила себя в той толпе под пулями, содрогнулась. Вырвалось невольно:

— Грех-то какой!

Мужчины притихли, обернулись к ней.

— Грех-то, говорю, господи! — стала неловко объяснять, сознавшись оттого, что вмешалась в их разговор. — Стрелять в иконы грех... С иконами шли к нему. Не оставит господь этого...

— Не оставит? — Мироныч, прищурясь, вглядывался в ее лицо. Сказал как можно мягче: — Будем надеяться, Анна Васильевна, что и не оставит...

Пожилой железнодорожник, сидевший у занавешенного стеклами окошка, заерзal на лавке.

— Тать лесной и то не решился бы на такое злодеяние, — басовито заметил он.

— Без оружия, без восстания не обойтись, — продолжал Мироныч прерванную мысль. — Вооружаться, создавать боевые дружины и не откладывать ни на один день.

— Где его возьмешь, оружие? — неуверенно спросил кто-то.

— Не валяется.

В темноте угла забеспокоился парень, кашлянул смущенно. Посмотрели на него, ожидая, что скажет.

— Я так думаю, — от волнения парень говорил хрипло, — оружие у фараонов отбирать можно. Не валяется, а по городу ходит.

Это был Костя Сляднев, которого Калачев просил прислать себе на смену. Светлый чуб спадал на крутой лоб, блестели крупные глаза.

Костя служил разносчиком в редакции газеты «Голос», был отчаянным и храбрым до бесшабашности. Раз передали ему листовки «Уроки войны». Рассовал по карманам и пошел по городу. Идет, опускает в ящики для писем, кидает через заборы. Проходил мимо полицейской части, решил, что городовым тоже полезно знать «Уроки войны». Не долго думая, свернул листовку в трубочку, приладил камешек и зашвырнул в форточку: «Нате, фараоны, читайте!»

Пришел домой, а там еще пачка дожидается — только что принесли. Говорит торопливо матери:

— Дай скорее понить чаю, жажда одолила.

Не успел за стол сесть, в дверь врываются полицейские.

— Здесь живет Минеев?

Очевидно, кто-то видел, как он бросал листовку в форточку.

Парень глазом не моргнул. Указал на флигель, где жил старик Пряничник. Полицейские быстро повернули, а он свежие листовки за пазуху и стрелой из дома.

Поздно вечером его все-таки арестовали. В участке отказался давать показания — отправлен был в Коровники, в одиночку.

Просидел он в Коровниках месяца полтора. Вышел и опять стал разносить газеты, а заодно и листовки.

— И этот источник по необходимости придется использовать, — поддержал Мироныч парня. — Но в основном будем доставать через военные организации и изготавлять сами...

В дверь с клубами морозного пара вошел Калачев. Иззяб, стоявши возле дома.

— Костя, ты чего околачиваешься тут? Пригрело? — недовольно обратился он к Слядневу. — Кто сменять должен?

Передал парню шубу, встал к печке греть руки.

Расходились поздней ночью. Мироныч остался у Калачева — на своей квартире его могли арестовать.

На этаже тянуло запахом кислых щей, горелым. С лестницы неслось невеселое треньканье балалайки. Родным, знакомым повеяло на Артема, когда он бродил по корпусу.

Искал он Егора Дерина. Заглянул в каморку, обегал коридоры — парня нигде не было. Досадно. Отец наказал, чтобы быть вместе и как можно скорей.

Артем хотел уходить и столкнулся с Марфушей — шла из кухни с блюдом пирожков. Была в стареньком ситцевом платье, босая. Стесняясь, Артем по-взрослому поклонился:

— Доброго здоровья, Марфа Капитоновна.

Марфуша чуть не села. Прыснула смехом, обняла свободной рукой смутившегося подростка, зацеловала.

— Тёмка, родной ты мой. Совсем одичал... Капитоновна! — И опять засмеялась. — На-ко пирожок съешь. — Выбрала самый румяный, протянула.

Артем, не глядя, взял, разломил. Пахучий дымок шел от печева. Пирожок оказался без начинки.

— С аминем, — заметил Артем.

— Да уж какой дали, ешь, — сказала Марфуша, любуясь им. — Ни разочки ведь не запел, как уехали из каморок. Будто чужой совсем.

— Некогда, — хмуриясь, сказал Артем.

Марфуша жалостливо спросила:

— Все учишься? Чай, трудно? Долго еще?

— Последний год.

— Ну и ладно, — обрадовалась она. — Конторщиком потом поставят. Легче, и уважение есть. Ты чего тут?

— Егора ищу. Мать говорит, с работы пришел час назад, куда-то удрал. Папаня зовет.

Марфуша погрустнела, задумалась.

— Помнишь, как папаню из Коровников ждали? Маленький ты был, заснул прямо на траве. А я все боялась: иззеленишь рубаху — попадет обоим. Родя меня тогда все от ворот прогонял, пугал ружьем: уйди да уйди. Все вижу, как вчера было... Зачем он вас с Егоркой зовет?

Артем пожал плечами. Ковырял пол носком валенка и молчал.

— Да уж не говори, раз нельзя, — ворчливо сказала Марфуша. — Все вы заговорщики... Пойдем, обедать соберу.

— Нет, — отказался Артем. — Егора найти надо.

Егор, Васька Работнов и Лелька Соловьева на пустыре за корпусом играли в шары. Было темно. Игра не клеилась, но и прекращать ее не хотели.

— Вот, давай сюда, — обрадовался Егор, завидя Артема. — Бери Васькин шар, а то с ним помрешь со скуки.

Васька обиженно возразил:

— А ты не подыгрывай ей. Больно интересно...

Лелька шмыгнула носом и азартно чикнула ногой свой шар. Он не то чтобы попасть в Васькин — не долетел даже. Егору удобнее было бить в Лелькин шар — и ближе, и на бугорке, — но он приметился и точно запустил по Васькиному.

— Видал! — с отчаянием обратился Васька к Артему. — Играй с ним... — И покорно подставил нос для щелчка.

Носы у обоих распухли. У Васьки оттого, что много проигрывал, Егор мужественно принимал щелчки за себя и за Лельку — выходило не меньше.

— Ты нужен, — объявил Артем Егору. — К отцу надо.

— Подожди, — попросил тот. Не хотелось ему уходить от Лельки. — Может, ее возьмем? Не смотри, что такая, язык за зубами держать умеет.

Лелька, услышав, что говорят о ней, бесстыже уставилась на Артема.

— И я с тобой, — требовательно объявила Егору. — Мамка дома, я могу допоздна гулять.

Егор взглянул на хмурого Артема, вздохнул и заискивающе сказал девчонке:

— Приду, в коридоре посидим. Выйдешь?

Лелька заносчиво тряхнула головой, обвязанной по-старушечки платком, и, даже не подняв своего шара, горделиво зашагала прочь. В душе Егора боролись два желания: догнать, сказать что-нибудь ласковое и другое — оставаться с Артемом, проявить характер.

— Подумаешь! — крикнул он Лельке. Тут же накинулся на Ваську. — Чего смотришь? Подбери ее шар и отнеси.

— А сам-то не можешь? — благоразумно заметил Васька.

— Слышишь! — кивнул Егор Артему. — «А сам-то...» Он еще рассуждает. Не догадается, что человеку некогда, ждут его.

Егор взял свой шар, послушно направился за Артемом. Долго молчали, пока шли мимо корпусов. Потом Егор не выдержал:

— Ты не злись на нее. Она хорошая.

Пытаясь быть безразличным, Артем сказал:

— Мне какое дело.

На самом-то деле он был обижен на Егора, ревновал его к Лельке. «Связался с рыжей, все забыл».

— Посмотри-ка, — похвастался Егор шаром. — Под цвет бомбы сделал. В случае чего, пригодится...

Шар был новенький, искусно выкрашен в стальной цвет и тяжелый — Егор проковырял в разных местах дырки и влил туда свинец. Все еще дуясь, Артем принял шар, повертел.

— Хоть бы мне сделал.

— Сделаю, — пообещал Егор.

В маленькой комнатке Крутовых, кроме Федора, были Варя Грязнова и Родион Журавлев. Федор стоял у печки, засунув руки в карманы, был серъезен. Варя, не раздевшись, сидела у стола. Родион по-деревенски присел на пороге.

Увидев фельдшерицу, Егор почему-то смутился.

— Как твое здоровье? — спросила Варя. — Не болит, ничего?

Егор вместо ответа оттянул рукав пальто, сжал кулак. На руке вздулись жилы.

— О, молодец! — похвалила она. — Подковы гнуть можешь.

— До подков мне еще далеко, — поскромничал Егор.

Варя ушла. Федор велел ребятам присаживаться.

— Завтра поедете в Ростов с утренним почтовым поездом. Во всем слушаться Родиона. Он солдат, ему и командовать. Да-вайте обговорим, как будем действовать.

«Дело-то нешуточное», — догадался Егор.

— Алексей, могу я завтра воспользоваться фабричной лошадью? Всего на несколько часов?

— Тебе, кажется, ни в чем не было отказу. Правда, Антипа я отпустил в деревню. Возьмешь другого кучера.

— Спасибо. Кучера мне не надо.

Выпрямляясь, Алексей Флегонович зло скрипнул стулом. Спросил, распалаясь гневом:

— С ним хочешь поехать?

Варя подняла голову, немножко удивилась резкости его тона. Брат водил ложкой в тарелке. Лицо становилось жестким и

непроницаемым. Видимо, острого разговора сегодня не избежать. Что ж, она давно готовилась. Хорошо, что нет рядом его жены Лизы. При ней Варя не смогла бы говорить начистоту.

— Вот еще что, — как можно беззаботнее сказала она. — Я ухожу из дома... У тебя теперь своя семья, свои хлопоты... Буду жить отдельно.

— Где? — коротко поинтересовался он.

Ей показалось, что брат принял это известие с облегчением. Нынешней зимой Грязнов женился на Чистяковой. Молодые женщины не ладили, в доме создалась тягостная обстановка.

— Где-нибудь поблизости от фабрики.

— На что жить будешь? — опять внешне спокойно спросил он.

— Я думаю, ты не выгонишь меня с работы?

— Нет, зачем же. — Он болезненно скривил рот. Чтобы она не заметила его подавленности, склонился над тарелкой. — Жалованье фельдшерицы... Не представляю.

— Теперь ты мог и забыть, сколько имел сам, когда приехал на фабрику.

Да, тогда он был в подчинении и имел всего тысячу в год. Хотя чувствовал себя и спокойнее, и увереннее. Может, оттого, что в ту пору не было ему и тридцати лет, будущее казалось заманчивым.

— Это верно, забыл. — Вспоминая то время, он подобрел. — Но и ты забываешь: с первых дней у нас была бесплатная казенная квартира.

— Буду жить скромнее.

— А он?

— Обвенчаемся и решим, как быть.

Алексея Флегонтовича неприятно поразило, что сказала она об этом уверенно, как о чем-то давно решенном. Спросил хмуро:

— Ты все обдумала?

— Да.

Грязнов потер лоб, долго сидел, закрыв глаза. Неотвязно всплывало лицо Крутова.

Не сам ли Алексей Флегонтович виноват, что возбудил у Вары интерес к нему?

Вспомнил, с чего началось.

В тот день Крутов вышел из тюрьмы, куда попал за чтение запрещенных книжек. В тот день Алексей Флегонтович при-

ехал на фабрику. Разница была в том, что управляющий Федоров принял молодого инженера с распостертыми объятиями, а мастерового не допустил до работы. Знай, что последует дальше, Алексей Флегонтович не стал бы вмешиваться в судьбу Крутовца. Но Федор был ему симпатичен, и он помог мастеровому устроиться на фабрику.

После стачки девяносто пятого года Крутов снова попал в тюрьму и, когда вернулся, Алексей Флегонтович, ставший к тому времени директором, уже не смог отказать ему в приеме на фабрику.

Солдаты стреляли в толпу рабочих. Фабричные не зря ждали суда над виновниками расстрела. С точки зрения гуманности это было бы справедливо. Но следствие провели так, что виновниками были объявлены наиболее заметные на фабрике рабочие, в том числе Крутов. Варя до сих пор при каждом случае напоминает, что с Крутовым и его товарищами поступили жестоко: осудили неповинных. Доказывать это Алексею Флегонтовичу излишне, сам прекрасно понимал, что так оно и есть. За вернувшимся из тюрьмы рабочими был установлен полицейский надзор.

Алексей Флегонтович имел возможность не принимать поднадзорных на фабрику. Однако Варя настаивала, в те дни она просто выходила из себя. И он согласился, тем более, что появилось желание сломить Крутова, подчинить своей воле. Пожелай он, и Крутов завтра же вылетит за ворота. Но это значило бы, что он расписывается в полном бессилии в своей борьбе за влияние на него. А Алексей Флегонтович еще надеялся...

— Ты въедешь в казенную квартиру при больнице. Но пока Крутов не будет назначен мастером, станете жить отдельно. Это мое условие. На днях я переведу его в механический завод.

— Может быть, твоя забота лишняя? — Щеки у Вари запунались, глаза наполнились обидными слезами. — В твоем понимании я несчастное создание, и ты спокойно оскорбляешь меня своим попечительством.

Алексей Флегонтович вышел из-за стола, ласково коснулся ее волос.

— Брось, Варя, — сказал проникновенно, как и раньше, когда были дружны. — Я говорю с младшей сестренкой, которую люблю, и ты это знаешь. Мне хочется, чтобы тебе жилось лучше, и больше ничего.

— Это правда, Алексей? — Варя смотрела на него с доверчивой улыбкой.

— Правда, Варюха... Только потому и противлюсь твоему сближению с этим человеком. Не будет у вас счастья. — Опять посурошел: «Как все-таки неприятно говорить об этом». Вдруг спросил с надеждой: — А может, не столь привязана, а? Разве мало вокруг достойных? Чем для тебя плох Лихачев, например? Подумай, Варя, хорошенько, не спеши.

— Странно в тебе все уживаются, — с грустью сказала Варя. — Ты добр и в то же время жесток, ты честен и можешь пойти против своей совести.

— Не преувеличивай мои дурные качества.

— Нет, Алексей. — Она задумчиво покачала головой. — Во все нет. Все годы я наблюдаю тебя и ты меня пугаешь. Боюсь, перестану уважать...

— Этого не случится, — бодрясь, заметил он. — Для тебя я всегда старший, внимательный брат. Приведи сюда... — Он замялся, не зная, как назвать, суженым или по фамилии. — Приведи сюда Федора и предоставь мне поговорить с ним. Должен я с будущим родственником познакомиться ближе?

5

Всю ночь ростовского купца Михаила Петровича Куликова мучили кошмары. Привиделось поначалу — сидит на раскидистой иве над прудом. Зачем полез — не объяснишь. С верхушки ее стал падать в воду. Упал и очутился в непонятном месте. Вокруг прыгают человечки — мелкие, в красных колпаках с кисточками, задевают Михаила Петровича, дергают, зубы острые скалят. Не сразу сообразил, что находится в преисподней, а человечки в красных колпаках — бесенята. Испугался до дрожи, спрашивает заискивающее:

— То, что я здесь, понарошку?

— Да нет, — ответил самый бойкий и дернул за волосы так, что больно стало. Схватился Михаил Петрович за больное место и ужаснулся — на голове у него тоже колпак с кисточкой... прирос. Закричал в ужасе, проснулся — лежит под мышкой у жены, зажат, душно.

Едва успел охолонуть от испуга — другой сон. Жену будто подхватил кто-то и через окно вытащил на улицу. Михаилу Петровичу возмутиться бы, догнать насильника — все-таки законная супружница, мать двоих детей, — а он этак глупо высунулся в окно и спрашивает, надеясь:

— Ты мой добрый ангел, да? Насовсем ее поволок?

Вот ведь что лезет в голову честному семьянину! А все от расстройства.

Писарь под большим секретом передал копию письма урядника — переписывал и ляпок сделал, утаил. На бульваре возле озера Неро застрелился мещанин Иван Обуй-Коровин, двадцати трех лет. При обыске нашли паспорт и записку: «Умираю, как нужно, без хлеба скверно, мест нет и нигде не держат, как политического поднадзорного. Одной жертвой самодержавия больше».

Урядник и сообщал о сем случае губернатору Роговичу. Добавлял, что торговля револьверами производится в Ростове одним Куликовым. И дальше шло такое, отчего вот уже который день Михаил Петрович не находил покоя. Куликов-де тридцати лет от роду, трезв, семейный, а в общем малограмотный и не высокого умственного развития, но во всем усилия употребляет к тому, чтобы его считали человеком образованным и дальновидным.

Михаил Петрович помнит — заходил урядник. Оглядел лавку, спросил, как торговля. И все с улыбочкой, с уважением. А поди, в тот же день и написал губернатору, прохвост. Ты мне в глаза скажи, кто я такой. Губернатору-то зачем об этом, на всю-то губернию славить?

Тяжко! В пору последовать примеру мещанина Обуй-Коровина.

Встал Куликов с головной болью. В ушах гул, то ли от дурного сна, то ли от тягучего колокольного звона, доносящегося с улицы. Все думалось: «Усилия употребляет к тому, чтобы считали человеком дальновидным...» У Михаила Петровича, не в пример многим, товар самый ходовой. Спроси-ка, кто из торговцев грузит подводы разной кухонной утварью, косами, серпами и отправляет торговать по уезду? Куликов. Сейчас спрос на оружие пошел. Разве не позабылся он выписать у торгового дома «Якобсон, Грингауз и К°» достаточное количество этого товару? Вот и считай, какой он недальновидный. У Куликова торговля — позавидуешь.

Михаил Петрович долго полоскался под умывальником, потом степенно подсел к столу. Прихлебывал с блюдца чай, ел оладьи, макая в сметану. Настроение вроде бы улучшалось.

На улицу он вышел в хорьковой шубе, в новых валенках. Пусть видят: и торговать есть чем, и одеть есть что. Шел неторопко, пальцы рук поигрывали на сытом чреве. За ночь морозец подсушил снег, хрустит он в такт шагу Михаила Петровича. Два зимогора за углом дома жрут водку прямо из сороковки. Михаил Петрович неодобрительно стрельнул на них взглядом — не заметили. «Пропащие люди!»

У воза, обвязанного рогожей, галдят бабы: видать, чего-то не поделили. Рядом с гостиницей узорные саночки, крытые медвежьей полостью. Застоявшийся крупный мерин вздрагивал лоснящейся кожей, перебирал ногами. «Кто-то из важных, нездешних, — определил Куликов, — не оставляют вниманием Ростов-батюшку».

Бабы распалились, уже до толкотни дошло.

— Посовестились бы перед великим храмом, — прикрикнул на них Михаил Петрович.

Бабы оглянулись, умолкли. Разом вдруг начали креститься на собор с золотившимися куполами. Даже зимогоры совестливо спрятали сороковку и затопали опорками к базару.

— То-то и оно, — удовлетворенно проговорил Куликов.

«Вот она, кормилица», — подумал с торжеством, останавливаясь перед окованной дверью лавки. Отомкнул замок, снял железные накидки. Распахнул оконные ставни. Из кирпичного выстывшего за ночь здания несло сырым холодом. На полках чего только нет: замки амбарные по полпуду весом и дверные американские, пилы, топоры, рубанки. Гора ведер — блестят оцинкованными боками. На прилавке за стеклом легкое оружие. На стенной специальной подставке установлены в ряд охотничьи ружья.

Оглядывая богатство, Михаил Петрович потирал руки от удовольствия. «Надо будет сразу же и печь протопить, — решил, — не то намерзнешься».

Скрипнула дверь. Вошли двое. Один высокий, подбородок спрятан в поднятый воротник осеннего пальто, мохнатая шапка глубоко сидит на голове. Только нос и виден — тонкий, удлиненный нос. В руке большущий черный чемодан. Второй парень лет семнадцати: широкие плечи, широкое нахальное лицо, разбойничьи глаза.

Михаил Петрович рад был первым покупателям. Хотел было выйти навстречу из-за прилавка и обомлел — молодой направил на него дуло нагана, пригрозил:

— Будешь кричать — застрелю.

Щелкнула дверная задвижка. Высокий деловито прошел за прилавок.

6

Мальчишка увидел незнакомца и решил поиграть с ним. Он остановился у окон лавки и уставился на Артема.

Артем не помнил, пять минут или полчаса прошло с тех пор, как Родион и Егор Дерин вошли в лавку. Ему думалось, что они там слишком долго. Только что прошли два мужика, в полурубахах, подпоясанные красными кушаками. Остановились, рассматривая облупившуюся вывеску с надписью «Металлические изделия Куликова». Артем замер: а ну пойдут в лавку, что предпринять? В случае опасности он обязан был отвлечь внимание. Еще накануне решили, что станет разыгрывать припадочного — начнет валяться на снегу, стонать, корчиться.

Артем знал, что на углу — отсюда не видно — следит за лавкой отец. Он приехал с Варей в узорных санках, что стоят у гостиницы.

К счастью, мужики посовещались и пошли своей дорогой. Теперь откуда-то принесло этого мальчишку. Артем покосился, тот все еще рассматривал его в упор. Потом отбил валенком круглую ледышку, пнул. Прискакивая по укатанной мостовой, она долетела до Артема. Мальчишка ждал, что ледышка будет послана обратно.

— Эй ты, — воинственно крикнул он, — чего надо?

Артему надо было, чтобы он убрался отсюда, и как можно скорее. Но поди, скажи — только раззадоришь. Пришлось сделать вид, что он ничего не слышит и не видит.

— Хочешь наколочу?

Парень явно наглел. Взять его за ошорок да тряхнуть как следует, небось, по-другому заговорил бы. А тут приходится терпеть.

— Может, ты немой? — заинтересованно спросил парень.

Артем молчал. Егор наблюдает в окно за его сигналами, надо быть внимательным.

— Тогда бы так и сказал, — съязвил надоедник и независимо отправился по своим делам.

«Уф!» — облегченно вздохнул Артем.

Появлялись еще люди, но удачно — никому в голову не пришло заглянуть в лавку металлических изделий. Наконец-то вышел Родион, шел как-то боком — чемодан оттягивал руку. Мельком огляделся и направился к углу, где стоял отец. И вот теперь-то Артема стала бить дрожь. Скорей бы Родион передавал отцу чемодан, скорей бы отец садился в санки и скакал из города. Родион, Артем и Егор поедут домой на поезде.

Родион скрылся за углом, а Егора все еще не было. Артем нервничал.

Показались санки, раскатились на повороте. Отец поднялся на козлах, взмахнул кнутом. Закутанная меховой полостью, сидела сзади Варя — бледная, с горящими глазами. Отец едва заметно кивнул Артему, Варя его, пожалуй что, не видела.

В лавке по-прежнему тишина. Почему так долго Егор? Выжидает, когда отец с Варей отъедут подальше? Или что другое? Успеют ли они с Егором убежать, пока торговец не опомнится и не закричит?

Артем пересек мостовую. И в это время в дверях появился Егор. Лениво осмотрелся, чихнул. Он вовсе не торопился. Дрожа от нетерпения, Артем рванул его за рукав:

— Скорее!

— Ладно, успеем, — отозвался Егор.

У Артема похолодело в груди.

— Ты.. убил его?

— Очумел! — удивленно сказал Егор. — Пальцем не тронул. Только и есть предупредил: если шевельнется, пусть пеняет на себя — лавку разнесет вдребезги. Он теперь до изнеможения стоять будет. Хочешь зайдем, посмотришь.

Но благоразумие взяло верх. Отошли от лавки и припустились к вокзалу. За углом дома к ним присоединился Родион.

Только перед обедом в лавку зашла покупательница — кухарка фабриканта Кекина. У нее сломался сковородник, и она хотела приобрести новый. Увидев трясущегося, с остекленевшим взглядом Кулакова, натянутую веревочку от шеи через прилавок с тяжелым темным шаром на конце, она взвыла дурным голосом и кинулась на улицу.

На крик сбежались люди, но добиться чего-либо от кухарки не сумели. «Там... Там...» Больше ничего не выговорила. Поняли одно: с Куликовым приключилось что-то страшное.

Срочно послали за урядником. Забыв про чин свой, он примчался как настеганный. С опаской открыл дверь в лавку, долго вглядывался, морщил сизый нос. Куликов с мольбой смотрел на него, но ничего не говорил и не шевелился. Урядник решил сделать шаг, второй. Остановился у прилавка, не касаясь руками, рассматривал шар. Сопел, фыркал недоуменно. Потом взглянул на Куликова и дернул за веревочку. Михаил Петрович замычал от боли. Урядник ухом не повел — дернул еще резче. Шар выпал и покатился по наслеженному полу к двери. Зеваки, давя друг друга, бросились на улицу. Урядник сказал:

— Это не бомба.

В толпе конфузливо заулыбались, наиболее смелые подошли к прилавку. Веревочка все еще висела на шее Михаила Петровича, а сам он — как остолбенел. Рослый детина в клеенчатом фартуке чиркнул по ней сапожным ножом. Она змейкой сползла с прилавка. И только тогда, с трудом разжимая зубы, Михаил Петрович простонал:

— Ограбили!

Схватил за плечи урядника, закричал сбивчиво:

— Двое!.. Потребовали оружие!.. Все выбрали, все!.. — Показал трясущейся рукой на пустоту под стеклом, рванул из-под прилавка железный ящик, в котором лежали патроны. — Все!.. В чемодан!.. О-о!

Урядник наливался гневом. Прийти, забрать среди бела дня оружие, запугать до смерти... И чем? Шаром деревянным? Нарочно не придумаешь.

— Приметы? Как выглядят? В чем одеты? Возраст?

— Двое, — стонал Михаил Петрович. — Молодой — разбойник. Второй в шапке, в пальто... Черное пальто. Чемодан...

А у двери рассматривали шар. Рабочий, длинноусый, со шрамом на щеке, вспоминал:

— Такие шары для игры делаются. Бросают ногами — катом и навесом. Особливо умелые без промаха бьют. Когда работал на Большой мануфактуре, сам играл. Больше нигде не видел.

— Точную опись, что взято. Немедленно ко мне.

Урядник, схватив шар, заспешил к выходу.

В конторе Грязнова ждал пристав Цыбакин. Директор повел на него неласковым взглядом и прошел мимо, не пригласив в кабинет. Отдуваясь, Цыбакин поднялся, без зова открыл дверь. Со стуком положил на стол перед директором что-то завернутое в бумагу. Стоял, нахмурив кустистые брови.

— Вы меня ставите в тяжелые условия, — начал он сердито. — Что делается на фабрике, узнаю только случайно.

Грязнов поморщился, не глядя на пристава, стал перебирать бумаги. Опять старый разговор. Полицейское управление настойчиво добивается устроить на фабрику своих тайных агентов. Будто без них не хватает дармоедов.

— Четыре-пять человек на такое производство — могли бы согласиться...

В голосе пристава появились нотки просителя. Это уже хорошо. Грязнов позвал конторщика Лихачева.

— Познакомьте господина Цыбакина с нашими расходами на содержание полицейских чинов, — приказал он.

— Нет надобности, — отказался пристав.

— Почему же? — зло улыбаясь, сказал Грязнов. — Ведомость любопытная. Фабрика содержит вашего помощника, пятерых полицейских служителей, конного урядника. Хотите знать цифру расходов?

Цыбакин досадливо отмахнулся.

— Заимейте нужных людей среди фабричных, — лениво сказал Грязнов, показывая, что бесполезно продолжать этот разговор.

Цыбакин сидел полуутвернувшись, обидчиво смотрел в одну точку. Уходить он не собирался. Когда за Лихачевым закрылась дверь, пристав поставил стул поближе, стал убеждаться:

— Фабричные связаны круговой порукой. Даже те, которых нам удалось завербовать, не приносят ценных сведений. Неспособны! Сразу же выдают себя с головой.

— Плохо работаете с ними.

— Может быть. И все-таки я настаиваю: для тайной службы сейчас нужны опытные люди. Времена изменились, Алексей Флегонтович. Странная смерть хожалого не наводит вас на размышления? Это было самое способное лицо из всех наших доверенных. Сдается мне, что умер он насильственным путем... Следователь — шляпа: поверил женской догадке, будто

человек убился при падении с лестницы, — закрыл дело. А надо бы понять, что тут явное убийство.

— У вас безудержная фантазия, господин Цыбакин, — рассеянно отозвался Грязнов.

— М-да! — Казалось вот-вот Цыбакин сорвется, закричит. — Я вынужден буду жаловаться на вас, — пригрозил он. — Вы своим нелюбезным отношением затрудняете мне работу. Посмотрите! — Он развернулся сверток. — Видите, что это такое.

— Сей предмет называется деревянным шаром, — насмешливо произнес Грязнов. — Пинается ногой. Так сказать, национальная игра рабочих Большой мануфактуры. Возникла полтора века назад. Вас удовлетворяет ответ?

— Вполне. Этот предмет национальней игры найден в оружейном магазине в Ростове, — со злорадством сообщил Цыбакин. — Магазин ограблен. Не вызывает у вас сей случай никаких догадок?

— Как это произошло? — спросил Грязнов, холода.

— Не знаю, Алексей Флегонович. Я поставлен в такие условия, что вообще ничего не знаю. Ограбление произошло в воскресенье утром. Шар был использован в виде бомбы, а именно: подвязан владельцу лавки на шею. Стоял, болван, не решаясь скосить глаза, чтобы удостовериться, бомба ли это. Позволил преступникам безнаказанно скрыться. В лавке ничего не взято, кроме оружия — тридцати семи револьверов и запаса патронов к ним. Даже денежный ящик не тронут. Понимаете, что это значит? Это не простой грабеж. На языке социал-демократов сие означает — экспроприация. Вот и делайте выводы, много ли мы знаем о настроении фабричных. Нас скоро перестреляют, как утят, дождемся... С утра в слободке идут обыски, надеемся напасть на след. Чаю, к тому нет препятствий с вашей стороны?

— Помилуйте, — поспешил заявил Грязнов, — ваша прямая обязанность выловить преступников.

Федор бешено пнул дверь. С потолка посыпалась штукатурка. Понимал, что глупо срывать зло на чем попало, и не мог справиться.

Артем сидел на корточках и подбирал с полу раскиданное белье, встягнув, складывал в корзину. Жандармы даже не по-

щадили его тетрадок и книжек — они валялись у кровати. Постель комом — заглядывали и под нее.

Артем обернулся к отцу с немым вопросом.

— Вся слободка поднята на ноги — ищут оружие, — сообщил Федор, сбрасывая пальто на кровать. — Откуда-то стало известно, что в лавке у Куликова были фабричные. Вы уходили последними, постарайся припомнить, не выдали ли чем себя.

Осмотрел разгромленную комнату. Найти, конечно, ничего не нашли: Федор был осторожен, лишнего не держал у себя. Оружие спрятано у Варей — к сестре директора с обыском не придут. Мучило другое: откуда жандармам стало известно, что оружие взято фабричными? Уж не попал ли Родион на кого из знакомых, когда выходил из магазина? Но тогда пришли бы прежде всего к нему, а жандармы в его каморку даже не заглянули. Обыскивают беспорядочно, приходят и к таким, кого уж никак нельзя заподозрить в неблагонадежности.

Федор опять перебирал в памяти поездку в Ростов. Они остановились с Варей у гостиницы, заходили в ресторан завтракать. Потом появился Родион, бросил чемодан в возок. Ехали мимо лавки, все было тихо. Артем стоял на противоположной стороне улицы. Из лавки последним выходил Егор Дерин.

— Когда возвращались, не трепались в вагоне?

— Сиделитише тихого, — сказал Артем.

— Зови Егорку. А это брось, соберу сам.

Артем молчаливо оделся и ушел.

Федор успел прибраться, когда на крыльце затопали сапогами. За Артемом в дверь боком притиснулся Егор Дерин, встал в тени. Необычная скромность его усилила подозрение Федора.

— Рассказывай, — не здороваясь, сказал Егору. — Вспоминай все. Почему ты долго не выходил из лавки?

Егор склонил голову набок, поглядывал на пустую стену. Глаза невинные.

— Надо было задержать купца, пока ты не уехал. И я ждал. Увидел, что ты проскочил, решил уходить. А как? Поди, попробуй. Пальнет из ружья в спину, тогда прощай мама. Все-таки ушел, пригрозил, если что...

Егор так никому и не сказал про шар, хотя догадывался, что именно потому и идут в слободке обыски, что нашли этот шар.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



1

Газеты полны сообщениями о стачках, правительство мечется в растерянности, полиция беспомощна. В такое время приходится рассчитывать на свой опыт. И слава богу, пока все благополучно — фабрика работает.

Алексей Флегонович готов ко всяkim неожиданностям.

Нынче поутру в ткацком отделе счетовод Кириллов — крикливый и неумный — обмеривал куски миткаля, снятые со станков. Каждый кусок должен был составлять шестьдесят аршин, за эту меру и платили ткачам. Счетоводу понадобилось проверить, все ли куски одинаковой длины. Он обмерил их до десятка, и все они оказались длиннее на два-четыре аршина. Узнав об этом, ткачи озлились. Алексей Подосенов с изумлением спросил счетовода:

— Это что же выходит? Работаю семнадцать лет и, поди, все семнадцать меня обманывали? Сколько же недодали?

Кириллов прикинул на костяшках счетов — цифра получалась внушительная.

В ткацком отделении поднялся невероятный шум. Были остановлены станки. Грудились возле счетовода, а он все щелкал и щелкал на счетах. Узнав, кому что причитается, рабочие решили предъявить директору требование: пусть-де выдаст каждому доплату, по числу лет работы.

Алексей Флегонович только что пришел на фабрику. Выслушав Лихачева, почувствовал озноб. Непредвиденный случай этот, когда рабочие напряжены до предела, мог вылиться в общую забастовку. Он ли не предупреждал служащих быть осторожными и не вызывать недовольства.

Перепуганный, но внешне спокойный, он немедля направился в ткацкое отделение.

Ткачи встретили директора враждебным молчанием. Неприятно поразило, что многие так и остались сидеть на подоконниках. Что ж, ради дела Алексей Флегонович может снести личную обиду. Он вышел на середину, чтобы всем было видно и слышно. Поискав глазами Кириллова — его среди рабочих не было, напакостил и поспешил скрыться.

В цехе было душно от хлопковой пыли и непривычно тихо. Грязнов расстегнул синий халат, одетый поверх костюма, вздохнул глубоко.

— Я вас слушаю, рассказывайте, — проговорил устало.

— Рассказывать нечего... Требуем... Всю жизнь видим обман, — раздалось сразу несколько голосов.

Бородатые потные лица, засаленные передники поплыли перед глазами Грязнова. Склонив голову, прислушивался и будто удивлялся. На самом деле лихорадочно искал те самые слова, после которых спадает напряжение распаленных гневом людей.

— Мне понятно ваше возмущение, — сказал негромко и опять все так же устало. — Что я делал бы на вашем месте? То же самое. — Почувствовал, что заинтересовал рабочих, слушают внимательно, продолжал увереннее. — Все вы недополучили какую-то сумму денег... Теперь попробуйте подсчитать, сколько потерял владелец фабрики. Знайте, что каждый кусок миткаля, который уходил с фабрики, мы считали за шестьдесят аршин. С кого теперь ему получать эти деньги?

Знал Алексей Флегонович, как повернуть разговор. Пусть покривил душой, сообщив о потерях владельца, — ничего такого

не было, при продаже каждый кусок обмеривался точно, — но на что ни пойдешь, чтобы утихомирить разбушевавшиеся страсти.

И хотя ткачи еще кричали: «Нам до этого нет никакого дела! Пусть отвечает, кто виноват! Мы свое требуем!» — но было понятно, что угроза бунта миновала.

— Вы спрашиваете, кто виноват? Правильный вопрос, — выкрикивал он, наслаждаясь обретенной властью над этой плотной серой толпой. — Виновата контора, виноват тот же Кириллов, который по лени своей не сделал обмер много раньше. Я обещаю вам разобраться, найти прямых виновников и наказать их. О вашей обиде я доложу владельцу и надеюсь на сочувствие его. — Помедлил, подумав, что придется выделить ткачам сколько-то денег из наградных, дать каждому в зависимости от того, кто сколько лет работал, и тогда они окончательно успокоятся. Но посчитал, что пока сообщать об этом рано. Пусть уж лучше неожиданно получит каждый рубль или два. Так будет впечатлительнее.

— Должен вам сказать, — доверительно сообщил притихшим ткачам, — что по моему предложению на фабрике готовится проект о сокращении рабочего дня до девяти часов. Сокращение рабочего дня опять принесет убыток владельцу, но, думая о вас, он, я надеюсь, пойдет на это. Сейчас прошу приняться за работу.

Ткачи, хотя и недовольные еще, разошлись по своим местам. Цех снова наполнился грохотом членков, хлопаньем приводных ремней.

Грязнов поднялся в контору. Был доволен, но в то же время чувствовал утомление. Откинувшись в кресле, сидел, потом вызвал Лихачева.

— Проект губернатору отправлен?

— Отправлен, как было сказано, — с готовностью доложил конторщик.

Грязнов ждал, не добавит ли служащий еще что. Лихачев молчал, но был весь внимание.

— Павел Константинович, сами-то вы ознакомились с моим предложением? Как вы его находите?

— Я полагаю, вы все учили, — не задумываясь, ответил Лихачев.

— И у вас нет никаких замечаний?

— Никаких.

— А как примут его владельцы здешних фабрик? Введи мы девятичасовой день у себя, то же придется делать и им.

— Придется.

— И что они на это скажут? — спросил Грязнов, почти с ненавистью оглядывая лошеного конторщика.

Лихачев пожал плечами.

— У вас бывает свое мнение или это такая роскошь, которая служащему необязательна?

— У меня одно желание — аккуратно исполнять ваши распоряжения.

— Хорошо, идите, — с тоской сказал Грязнов.

Лихачев было повернулся, но директор вдруг вспомнил:

— Подготовьте немедленно расчет счетоводу Кириллову. Основание — небрежное исполнение своих обязанностей. Приказ вывесить по всей фабрике.

2

В глубине больничного двора, поодаль от лечебных корпусов, стоит под красной крышей продолговатый одноэтажный дом — два низких крылечка, окна, смотрящие в заросли бузины. Одну половину дома занимает доктор Воскресенский, вторая была приспособлена под кладовую. Сейчас там живет Варя Грязнова. Две отдельные скромные комнатки. Из коридора есть еще дверь в третью, но она пока закрыта, хотя ключ находится у новой хозяйки.

Из фабрики Грязнов не поехал домой, а свернул сюда, решив проведать сестру. Уже подходил, когда увидел вышедшего из дома человека. В коротком полупальто, в ботинках с галошами, он быстро шагал навстречу.

Было сумеречно и потому Грязнов не сразу признал Федора Крутова. А когда увидел, что это он, замешкался, невольно отступил в сторону, давая дорогу. Федор шел от Вари и это взволновало Грязнова.

— Подождите, — глухо сказал он. Тяжелый взгляд буравил мастерового, рука крепко сжимала трость. Федор резко остановился.

— Сестра должна была вам сказать...

— Что именно, Алексей Флегонтович? — спросил Федор.

От Грязнова не ускользнули беспокойство и неуверенность в голосе мастерового. Решил, что это от робости перед ним и смягчился.

— Я ждал, когда Варя передаст мое желание видеть вас... — Грязнов помедлил и спросил совсем не о том, о чем хотел сначала: — Надеюсь, вы слышали, что на фабрике ожидается сокращение рабочего дня? Что об этом говорят рабочие?

— Говорят, что когда это произойдет, они вам скажут спасибо.

— То же думаете и вы? — улыбнулся директор. Все-таки приятно слышать о себе добрые слова.

— То же думаю и я, — подтвердил Федор. — Хотя считаю, что вас вынудили на это обстоятельства.

Грязнов в задумчивости потер подбородок. Вспомнился разговор с Лихачевым. «Рабочий Крутов сразу дал оценку, пусть не совсем лестную, а тот грамотей мямлил, не зная, что ответить».

— А яснее? — спросил он с любопытством.

— Вы хорошо чувствуете, что происходит кругом, и хотите этим послаблением предупредить забастовку.

— Что ж, это правда... А вы не считаете, что я иду на риск? Как посмотрит на мое решение владелец фабрики? Как посмотрят местные заводчики?

— Раз вы идете на это, значит, заранее все взвесили. Но что бы там ни было, рабочие готовятся сказать вам спасибо.

Внутренне Грязнов удивлялся четким ответам мастерового. Подумалось: «Будь сегодня Крутов в ткацком отделении, неизвестно еще, чем бы все кончилось».

— Я не раз говорил, что вы умный человек. Мне доставляет удовольствие беседовать с вами.

— Благодарствую, господин директор.

— Зачем же так? Я говорю искренне. Как вы посмотрите на то, если вас переведут в механический завод? Там освободилось место мастера.

Грязнов никак не ожидал увидеть растерянность, мелькнувшую на лице Крутова.

— Что же вы молчите? — поторопил он, недоумевая.

— Я отказываюсь. Не смогу...

— Отчего так? — удивился он. Приглядываясь к Крутову, он чутьем угадывал, что тому мешают принять предложение какие-то сложные причины, не зависящие от его личных желаний.

— Я привык к тем людям, с которыми сейчас работаю.
— Будем откровенны, Федор. — Грязнов старался не показывать нахлынувшего раздражения. — Я прежде всего забочусь о сестре. В вашем теперешнем положении при всех усилиях вы не сможете обеспечить ее самым необходимым. Решайте, у вас два выбора: или — или.

— Ни того, ни другого, Алексей Флегонович, — вежливо и твердо заявил Федор. — Позвольте нам решать самим.

— Я сделаю все, чтобы вам не пришлось решать самим, — с нажимом произнес Грязнов.

Не попрощавшись, крупно пошагал к дому.

Варя, как могла, украсила свое жилье. На вымытых до желтизны бревенчатых стенах висели полочки для книг, на полу устланы цветные дорожки. Спальню комнату оживляла картина в золотистой рамке — лесная опушка, петляющие заячий следы на глубоком снегу.

Сидя за столом, Грязнов неодобрительно оглядывался. Варя поспешила поставить самовар, налила чаю. Сама присела напротив.

Грязнов понимал, что не очень вежлив с ней, но ничего не мог с собой поделать. Сестра добавила ему хлопот, а их у него и так достаточно.

— Крутов отказался от должности мастера. Не ожидал от него такой дурости.

Варя вздрогнула, наклонила голову. Брат кипит от раздражения и лучше не перечить ему.

— Надеюсь, в воскресенье ты брала лошадь не затем, чтобы где-то на стороне обвенчаться с ним?

Она вскинула возмущенный взгляд. Алексей Флегонович словно опомнился, попытался улыбнуться.

— Если бы ты не заблуждалась, все было бы не так, — горько начал он, думая о том, что ее отношения с Крутовым — следствие тех взглядов на жизнь, которые она приобрела, общаясь с лицеистами. — Вспомни, как мы приехали сюда, сколько было надежд делать добро, творить справедливость. Когда-то ты радовалась каждому моему начинанию. Много было сделано и делается сейчас... Но ты отдаляешься все дальше и дальше. Мы стали почти врагами... Теперь я подготовил проект о сокраще-

нии рабочего дня. Фабричные и мечтать не могли о таком благе. Владелец теряет на этом до двухсот тысяч рублей в год... А много ли сделали те крикуны, сеющие смуту? Однако ты видишь в них поборников справедливости и очень подозрительно относишься к тому, что делаю я. Почему мы перестали понимать друг друга? — Он рассеянно поворачивал чашку, рассматривая рисунок, кривил рот. — Сегодня Крутов вдруг выдавил сквозь зубы: проект, мол, вынужденный, своей борьбой рабочие добились его.

— Но это так, Алексей, — робко возразила Варя. — Ты боишься беспорядков, боишься, что рабочие остановят фабрику, и вынужден искать пути... Почему ты не хочешь признаться в этом? Крутов прав и тебя злит, что он понимает твои поступки, причину их.

Только сейчас Грязнов осознал, зачем он шел к Варе. В сущности, он очень одинок. Да, у него высокое положение, дающее ему тридцать тысяч в год и соответствующие возможности при этом, в конце концов у него есть семья, и все-таки он очень одинок. Ему не хватает человеческой теплоты. В присутствии сестры он всегда испытывал душевное облегчение.

Он резко поднялся из-за стола, стал одеваться. Варя молчаливо следила за ним, не зная, что сказать. Уже от двери Грязнов метнул на нее сердитый взгляд.

— Не могу больше слышать о нем. Мне надоело по нескользку раз на день произносить эту фамилию. Опомнись, порви с ним, и все будет хорошо. Тем более, я не хочу больше ограждать его от неприятностей. Зачем это надо? Когда человек не чувствует благодарности за доброе, ему приходится платить тем же...

— Что ты надумал? — тихо спросила Варя. — Прошу, не вмешивайся в мою жизнь. Я не касаюсь твоих симпатий и убеждений, избавь и ты меня от этого. Ты ничего такого не говоришь, но я понимаю, что ты задумал. Не смей этого делать, Алексей. Слышишь? Пойми... — Ей было трудно говорить. — Пойми, у нас будет ребенок. Мы уже давно обвенчались. Я уговариваю его уехать отсюда.

Алексей Флегонтович прислонился к косяку, закрыл глаза. Лицо точно одеревенело.

— Тем лучше, — неопределенно сказал он, заставив Варю задуматься.

Хотел ли он сказать, что будет лучше, если они уедут?

Всего одному человеку разрешался въезд во двор губернаторского дома — уездному врачу Сикорскому.

Получил он эту милость после того, как нашел причину болезни новорожденной дочери губернатора. Десяток знаменитостей побывало до него и все бессильно разводили руками, а девочка таяла. Он же, бегло осмотрев ребенка, направился в комнату кормилицы. Расспрашивал бабу, принюхивался. Будто случайно заглянул в шкаф, потом под кровать. Там и увидел гору бутылок из-под водки.

Кормилицу, что любила выпить, прогнали, девочка поправилась. Обрадованный отец хотел сделать Сикорского домашним врачом и предложил награду.

— Спасибо за честь, — отказался Сикорский. — Приезжать буду и так, по первому зову. — Хитро усмехнулся, добавил: — Слышал, подъезд к вашему дому запрещен даже для самых уважаемых людей города. Подарите мне исключение, чтобы въезжал во двор на собственных, с бубенчиками.

Посмеялся губернатор. «Быть по сему», — сказал.

Директор Большой мануфактуры Алексей Флегонтович Грязнов такого разрешения не имел, потому выбрался из пролетки на углу улицы, возле парка, примыкающего к дому губернатора.

Постукивая тростью по булыжнику, шел неторопливо. На душе было спокойно и легко. Губернатор ознакомился с его проектом, пригласил для беседы. Правда, предложено явиться точно к двум часам, как будто прием официальный. Но Алексей Флегонтович понимал — у начальника губернии день заполнен до отказа, он назвал часы, в которые им не помешают.

Внизу, сквозь ветви могучих лип, росших по крутым береговому склону, проглядывала Волга, темная от волн. Порывистый ветер гнал по набережной мусор, вихрил пыль.

У парадной двери Грязнова встретил старик швейцар, принял шляпу, трость. Пока Алексей Флегонтович оглядывал себя, причёсывал жесткие волосы, с широкой каменной лестницей, устланной яркой ковровой дорожкой, спустился чиновник. Учтиво провел в большой зал с венецианскими зеркалами в проштенках, попросил обождать. Грязнов сел на диван, стоявший возле камина, украшенного чудо-птицами синими, высокого, под потолок.

Ровно в два раскрылась тяжелая дверь с резными украшениями, вошел Рогович.

— Дорогой Алексей Флегонтович! — радостно провозгласил он, стремительно приближаясь и протягивая руки. — Рад вас видеть.

Сел рядом в кресло, поглядывал с азиатской хитростью. Глубоко запрятанные под лоб карие глаза брызжут весельем, полные губы раскрыты в улыбке.

— Боюсь, мое появление в ущерб делам многотрудным, — сказал Грязнов первое, что пришло на ум.

— Полноте, — махнув рукой, возразил Рогович, — изо дня в день скучные обязанности, за бумагами людей не вижу. — Мрачная тень вдруг легла на лицо. — Сдается, Алексей Флегонтович, Россия начинает сходить с ума. Правительственные указания читать горько. О чем думают? Из уездов каждый день куча жалоб, сообщений. Начитаешься разного вздору, голова идет кругом. Спасибо вам, что хоть на какое-то время освободили от мелких забот... Вы объявили фабричным о своем желании сократить им рабочий день?

Грязнов сказал осторожно:

— Я не мог этого сделать, не получив вашего согласия. Хотя о том, что такой проект готовится, кое-кому известно.

Губернатор прищурил брызжущие весельем глаза, сообщил:

— Против вас, Алексей Флегонтович, все местные заводчики.

— Живут, ничего не замечая, или не хотят ничего замечать, — после некоторого молчания сухо обронил Грязнов. — Главная цель моего проекта предупредить надвигающуюся, не в пример другим годам, забастовку. Если мы не хотим, чтобы рабочие сами установили восемь часов, надо решать заранее...

Вся веселость слетела с лица Роговича, рассматривал ногти на руке, хмурился.

— Весьма интересно, — заметил он. — Записка говорит о большом вашем уме и добром сердце. Не зная вас, я бы подумал, что она составлена теми, кто нынче зовет народ на улицы. Смело, решительно... Однако заводчики очень рассержены. Вахрамеев, владелец свинцово-белильного завода, похвалялся в «Столбах» побить вас, если не откажетесь от своей затеи. Их не столько пугают убытки, сколько последствия этого послабления. В нынешней сумятице нужней твердость.

Грязнов темно, из-под опущенных бровей взглянул на губернатора.

— Должен ли я думать, что вы решительно восстаете против моего предложения?

— Ни в коем случае, — поспешил успокоить его Рогович. — Очевидно, вы правы, дорогой мой, как всегда правы... Карзинкин уже дал согласие?

— Его смущают первоначальные убытки. Он не учитывает скрытых выгод, которые дает мой проект. Должно быть ясно, что если рабочий лучше отдохнет, больше и сделает. Пройдет месяц-два и выработка станет выше, чем нынче. Я направил ему подробное письмо, которое убедит его. Надо учитывать еще и то, что я предлагаю сократить число праздных дней в году.

— Да, да, — рассеянно подхватил Рогович. — Любопытно, что на это скажут духовные лица?

Грязнов поскунил, ждал, когда можно раскланяться. Всего мог ожидать, когда шел сюда, но только не полного отказа.

В один из своих приездов владелец фабрики Карзинкин пригласил Грязнова на чашку чаю. Гостей было всего — он да губернатор Рогович. Разговор шел приятный, неторопливый, хотя встреча эта — нетрудно было догадаться — носила деловой характер: часто приходится в нынешние времена обращаться за помощью к начальнику губернии. Карзинкин потому и пригласил Алексея Флегонтовича, чтобы поближе познакомить его с губернатором. Удивлялся Алексей Флегонтович тому, как за просто держит себя владелец фабрики в присутствии Роговича, еще больше уверился в могуществе своего хозяина. И то сказать, по всей России немного найдешь таких крупных фабрик, какой стала Большая мануфактура.

После Карзинкин при случае напоминал: «Не теряйте связи с Роговичем». Нет, Алексей Флегонтович не умеет ладить с чиновными людьми. Вспомнил вдруг, что губернатор даже не поблагодарил его за книгу по истории фабрики. А ведь была послана с дарственной надписью год назад.

Спорить, убеждать в своей правоте не хотелось, не было сил. Когда двадцатитысячная армия фабричных объявит забастовку, губернатор спохватится, но будет поздно. Алексей Флегонтович напомнит ему о нынешнем разговоре.

— И еще, — донесся до него голос Роговича, — есть жалоба на вас от жандармского полковника Артемьева. Вы отказываетесь принять на фабрику рекомендованных людей.

— Алексей Петрович, — гневно возразил Грязнов, — фабрика содержит штат полиции вплоть до конного урядника. Расходы на их содержание значительны. Позвольте тем и ограничиться. Ко всему, я не вижу пользы от людей, работающих негласно. Мундир городового скорей приведет в чувство смутьяна, чем переодетый шпик. Если Цыбакину так необходимы эти люди, пусть ищет их среди фабричных.

— Вы и в этом мудрее, чем остальные, — покорно согласился губернатор. — И все-таки старайтесь ладить с полицейскими чинами. Что касается проекта, вводите его по своему усмотрению, но не раньше, чем это будет необходимо. Надеюсь, предварительно поставите меня в известность.

Грязнов судорожно сцепил зубы, поспешил откланяться. Губернатор его не задерживал.

4

Ночами дули сырье ветры, хлестал дождь. Утро просвечивало хмуро, не принося радости.

Война с Японией окончилась позором. Давно ли торговали лубочными картинками, где огромный русский мужик топтал сапожищами целые японские армии. Нынче на улицах полно калек — выставляют обрубки ног, бесстыдно заголяют рубахи. Жутью веяло от солдатских рассказов.

Газеты, устав от патриотической трескотни, сообщали теперь о погромах помещичьих имений и вооруженных стычках рабочих с полицией и войсками. Тюрьмы были забиты до отказа. Трещала по швам Российская империя.

В городе бунтовали железнодорожники. Глухо роптала Большая мануфактура. Там тоже назревала забастовка.

За Новой деревней в сосновом бору собирались дружинники — обучал их стрельбе бывший солдат Фанагорийского полка Родион Журавлев. Он же ездил за оружием в Вологду — тамошние большевики выделили пять винтовок системы Винчестера, патронов, револьверов. Теперь в отряде было около ста человек, худо ли, плохо ли, но вооруженных.

Темными слякотными вечерами мелькали больничным двором тени. Подходили к деревянному одноэтажному дому. Оглядываясь, поднимались на крыльце. В тихой квартире Вари

Грязновой собирались Федор Крутов, Василий Дерин, Родион Журавлев, ткач Алексей Подосенов. Иногда появлялся крючник Афанасий Кропин, с любопытством прислушивался к жарким спорам. Варя в свободном халате, который скрадывал выпиравший живот, мягко ступала по скрипучим половицам, ставила на стол чашки для чая. На этих тайных собраниях было выработано требование: рабочий день — восемь часов, Первое мая праздновать беспрепятственно, зарплату поднять на пятнадцать процентов, создать рабочую комиссию для контроля над действием администрации.

Теперь в курилке, на лестничных площадках только и говорили: бастовать или ждать, когда владелец сам сделает прибавку? Будто обещал он в виду растущей дороговизны продуктов повысить зарплату. В ткацком отделении дошло до драки. Маркел Калинин назвал подлизалой Арсения Полякова, который получил на днях каморку в девятом корпусе. Каморки там поменьше, чем в других корпусах, но зато в каждой не две, не три — одна семья. За какие-то услуги начальству дается такое жилье.

— Нужна мне ваша комиссия, — кричал Арсений, — свою выгоду я и сам не выпущу.

— Выпустишь ли, — отвечал ему Маркел, — то-то замечаем, что стал подлизалой.

Полякова заело: накинулся на Калинина с кулаками. Тому на подмогу пришел Алексей Подосенов. Нашлись дружки и у Полякова. Драка разгорелась такая, что пришлось вызывать сторожей.

Первым встал механический отдел. Когда рабочие вышли на площадь перед Белым корпусом, из дверей конторы вдруг посыпались на улицу служащие. Круглили глаза, орали:

— Свобода! Царь даровал народу права!..

Не объяснив, какие права, лезли к рабочим целоваться, плачали от избытка благодарных чувств.

Сам Грязнов вышел на крыльцо, показал газету.

— Граждане! — выкрикнул глухо.

Удивились в толпе, притихли: не рабочая скотинка, не кто-то — граждане!

Грязнов передохнул, договорил торжественно:

— Отныне государь будет продолжать свое великое царское служение, опираясь прямо на народ. Даны свобода слова, печа-

ти, собраний. — Заблестел глазами, снова тряхнул над головой газету. — Об этом говорит опубликованный здесь манифест.

И, величественный, непривычный, ушел в контору, не подумав поинтересоваться, зачем рабочие собирались на площади.

Понеслось по фабрике слово «свобода» — звучное и мало-понятное. Ошарашенно переспрашивали друг друга: «Кому свобода? Над чем свобода?» Наиболее грамотные объясняли: «Теперь, значит, всему свобода. Хочешь — иди на смену, не хочешь — спи. Никто тебе ничегошеньки не скажет, потому что свобода. Что хочу, то и ворочу».

От такого объяснения стало легче. В прядильном женщины посадили табельщика Егорычева в железный ящик из-под ровницы, приделали веревку, повеали. Ящик грохотал по лестнице, Егорычев судорожно хватался за его края, смотрел на баб осте-кленелым взглядом. Ящик выпихнули за ворота, кувырнули в грязь. Потом гурьбой поднялись в контору, потребовали не пускать больше Егорычева на фабрику. Грязнов не спорил, велел Лихачеву рассчитать табельщика. Свобода!

Дежурный слесарь Пономарев — мужик забитый, молчалп-вый — остановил паровую машину и прилег на верстак, наслаждаясь тишиной. Через пять минут в котельную примчался ме-ханик Чмутин, категорически потребовал немедленно пустить паровую машину. Слесарь заупрямился.

Механик плюнул с досады, попшел докладывать Грязнову. Рабочие в это время побросали станки и ушли с фабрики.

Никто толком не знал, что дал народу манифест. Жадно рвали из рук каждый печатный листок. И когда, на следующий день, вышла местная газета «Северный край», за мальчишками-разносчиками начали гоняться толпами. Вместе со всеми гонялись полицейские. Где успевали, брали все газеты целиком. Сначала не понимали, зачем полицейским столько газет, а когда разобрались, то-то было хохоту.

Наборщики созорничали, и в официальной телеграмме было сказано: «Вчера Его Величество скончал обедню...»

Хозяина типографии Фалька вызвали в канцелярию губернатора, и в тот же день потребовали выехать для объяснения в столицу. Оттуда он возвратился через неделю — мрачный, не-разговорчивый. Вскоре стало известно, что Фальк застрелился. Сей печальный случай не произвел на горожан впечатления. Внимание было приковано к более важным событиям.

— Всех с собой берете, али как?
 — Всех, всех! Вставай, бабка, в строй. Скоро тронемся.
 — Где вставать-то, родимый?
 Только тут Федор внимательней глянул на старуху: спина сгорблена, палка в руке; чтобы видеть человека, разговаривает, склонив набок голову. А туда же, в демонстранты!

— Да ты чья будешь-то, бабуся?

— А Балабониха. Слыхал, чай? Васька Балабонов сын мне, на пыльном волчке работает. Тоже где-то здесь.

— Пристраивайся... Только не дойти тебе: через весь город грязь месить будем.

— Поди-ка, доплетусь. Раньше-то хаживала.

Собирались на площади, перед окнами конторы. Не одна любопытная рожа прилипла к стеклу, с удивлением оглядывая растянувшуюся колонну фабричных. Подрагивала занавеска в окне кабинета Грязнова. Алексей Флегонтович наблюдал молчаливо, понимал, что никакое вмешательство не поможет: если надумали — пойдут. Сам объявлял с крыльца, что теперь разрешено собираться. Только и есть — велел Лихачеву связаться с канцелярией губернатора, передать: фабричные-де хотят в город на митинг.

Решили идти не по Федоровской, не по дамбе, а через плотину, полем — ближе. Развернули впереди знамя. Суетливо бегал Родион Журавлев — расставлял дружиинников по всей колонне. Строго-настрого предупреждал: порядок чтобы был, дисциплина. Все дружиинники были разбиты на десятки. Артем Крутов и Васька Работнов попали в десятку Егора Дерина. Ребята встали в голове колонны у знамени, которое держал ткач Подосенов.

Со стороны Широкой улицы, от каморок все еще подходили люди. А времени оставалось мало: на шесть часов в юридическом лицее был назначен митинг. Посыльный от Мироныча передал, что лицеисты встретят карзинкинцев в городе и, соединившись, пройдут вместе по улицам.

Федор велел передним трогаться; кто опоздал — догонит.

Ветрено, грязно, глинистая земля липнет к ногам. Поэтому, не успели пройти плотину, пришлось останавливаться, ждать, когда подтянется хвост колонны. Так делали несколько раз, пока добрались до заболоченных улочек вспольинского предме-

стья. Стоявшие у калиток жители провожали фабричных с опаской — тихо идут, но кто знает, какие у них намерения.

У Сенного рынка перед выходом на мощеную Власьевскую улицу последний раз сделали остановку, обили грязь с обуви. Теперь шли тесно, прямыми рядами. Ни песен, ни разговоров, только слышалось шарканье ног да хлопало на ветру знамя. Вся проезжая часть была занята людьми — извозчикам приходилось поджиматься к тротуарам, пережидать.

Когда были у центральных бани Оловянишникова, увидели, что с Духовской улицы побежал народ. Оглядывались, что-то кричали.

Остановили одного — стучал зубами то ли от холода, то ли от испуга.

Стали расспрашивать, что там стряслось.

— Студентов бьют, — ответил коротко. — Лавочники...

Фабричные прибавили шагу. Были у перекрестка, когда с Духовской показались казаки. Горяча лошадей, перегородили путь. Подбоченившись, разглядывали демонстрантов. Рожи сытые, нахальные.

Передние остановились перед самыми мордами лошадей. Задние напирали. Подтянутый казачий офицер спросил с вызовом:

— Па-а-чему с флагом? Кто такие?

— Идем на митинг в лицей, — объяснил Федор. — Просим не мешать, освободить дорогу.

— Поворачивайте назад. Митинг распоряжением начальника губернии отменен и быть не может.

Повел лошадь прямо на Подосенова, стоявшего с флагом. Василий Дерин, оберегая знамя, взмахнул рукой, лошадь попятилась.

— Побаловать захотел, ваше благородие? — спросил Василий, сощурясь, поглядывал на офицера. — Смотри, нас много, не ошибись.

Постукивая нагайкой по голенищу сапога, офицер улыбнулся тонкими губами, с угрозой предупредил:

— На размысление даю пять минут. Не уйдете — разгоним силой.

Фабричные зароптали, дружинники стали стягиваться в передние ряды.

— Между прочим, у нас пятьсот вооруженных револьверами, — сказал Федор офицеру; нарочно прибавил для устрашения.

ния — сотни не набиралось. — Если ваши казаки вздумают изменить силу, будем стрелять.

Офицер ничего не сказал, но было видно, что поубавил спеси. Обвел взглядом злые лица фабричных, попятил лошадь.

Задние все напирали, спрашивали:

— Почему не пускают? Митинг объявлен в газете.

— Говорят, запретили. Сам губернатор приказал.

А с Духовской продолжал бежать народ. Вывернулся парень в студенческой куртке — рукав у куртки наполовину оторван, — прикрывал окровавленное лицо рукой. Взглянул на казаков, на толпу демонстрантов, крикнул дико:

— Убивают... Черная сотня!..

Побежал дальше, пошатываясь, как пьяный.

Федор озабоченно поискал глазами Егора Дерина.

— Возьми ребят и попытайся проскочить. Узнаешь, что там такое.

Егор негромко свистнул, шмыгнул на глазах казаков в проулок. За ним по одному выбрались из рядов Артем Крутов, Васька Работников, еще парни.

Офицер было направился им наперерез, но, поймав хмурые взгляды фабричных, колыхнувшихся вперед, счел за лучшее не ввязываться, осадил лошадь.

Ребята побежали на Духовскую, в конце которой темным пятном металась толпа.

Первое, что они увидели, — кучка чисто одетых людей. Они грудились на тротуаре с иконами и портретом царя, орали, свистели. Дальше мостовую заполонила разъяренная толпа. Студенты были прижаты к каменной глухой стене — отбивались ремнями, досками от забора, просто кулаками. Их было гораздо меньше, чем тех, кто нападал. Когда кого-то удавалось оторвать от своих, его швыряли в гущу толпы, сбивали с ног, топтали.

Два рослых мужика с озверелыми лицами — ноздри раздуты, глаза побелели — держали тоненькую девушку. Она рвалась из их рук, царапалась.

— Артем! — отчаянно выкрикнула она, увидев подбегавших парней. — Спасай Мироныча!..

Это была Машенька, племянница старого аптекаря. Подбегая к ней, Артем выстрелил в воздух. Не отпуская девушки,

мужики обернулись, ощерились злобно. Набежавший следом Васька Работнов ударил одного, оттолкнул. Второй, увидев направленное дуло револьвера, заверещал по-поросяччи, бросился во двор дома. Артем крикнул Машеньку:

— Там на Власьевской наши! Бегите!

Еще раз выстрелил. Толпа отхлынула, оставив на мостовой лежащего человека. Артем похолодел, когда увидел Машеньку, с плачем припавшую к этому человеку. Вдвоем с Егором они осторожно подняли Мироныча. Он был без сознания. На бледном лбу кровоточила глубокая ссадина.

Егор крикнул Ваське. Парень подбежал — запыхавшийся, ошалелый, без картуза — уже успели сбить. Велели ему взять Мироныча.

— Давай до наших. И пусть бегут на помощь, — распорядился Егор.

На стрельбу сбежались полицейские. Вывернула из-за угла дома извозчичья пролетка. В ней сидел пристав — багроволицый, перекрещенный ремнями.

При виде блюстителей порядка черносотенцы ободрились, снова насыли на отходивших к Власьевской улице студентов.

— Главного-то отпустили! Ловите главного! — орал с тротуара мужик с иконой, указывая в сторону Васьки, который нес Мироныча. Сзади торопливо шла заплаканная Машенька. — В полицейскую часть его...

Пристав что-то сказал стоявшему рядом городовому. Тот, путаясь в полах длинной шинели, побежал догонять. Вместе с ним бросилось еще несколько мужиков.

Махнув Артему, чтобы не отставал, Егор ринулся к извозчику, что привез пристава. Тот разворачивался, намереваясь отъехать в безопасное место.

— Куда, зимогор! — завопил мужик. — Но, увидев в руке парня револьвер, затрясся, побелел.

— Не кричи, — приказал Егор. Дождался, когда следом прыгнул в пролетку Артем, ткнул мужика в спину. — Гони по улице.

Извозчик опять опасливо покосился на револьвер, стегнул лошадь. Она с места пошла вскачь.

— Не пугайся, дядя! — озорно крикнул Егор и, когда поравнялись с толпой настигавших Ваську черносотенцев, поднял над головой револьвер, выстрелил. Мужики шарахнулись в стороны, сразу отстали. Но городовой все еще продолжал бежать. Его

объехали, чуть не задев оглоблей. Егор погрозил ему револьвером.

Извозчик остановился. Васька передал Мироныча ребятам, помог взобраться Машеньке. Не задерживаясь, повернул обратно к отбивающимся студентам.

— Гони к фабрике Карзинкина, повезем в больницу, — сказал Егор извозчику.

— Да уж догадался, — со вздохом ответил тот. — Куда более.

Когда выехали на Власьевскую, ни своих, ни казаков там не было.

6

Фабричные стояли, неприязненно поглядывая на казаков. Те тоже устали от пустого ожидания, но идти напролом не решались. Демонстранты имеют оружие — так они сказали. Ну, а кому хочется подставлять свою голову под пули?

По тротуарам опасливо пробегали прохожие, крутились мальчишки. Робко покрикивая: «Дорогу! Посторонись!» — проезжали извозчики.

Долго тянулись минуты. Потом колонна рабочих заволновалась, из рядов стали выходить небольшими группами — направлялись к Рождественской улице. «До морковкиного заговенья стоять, что ли? Дома дела ждут».

Федор велел поворачивать к дому. Все так же, не спуская флага, развернулись, пошли. Родион Журавлев с дружинниками перешел в хвост колонны — не верили казакам, опасались, как бы не бросились вслед, не начали топтать лошадьми и стегать нагайками. Но все обошлось. Казаки убедились, что фабричные отправились в слободку, ускакали.

Шли притихшие, не хотелось сознаваться, что перед полусотней казаков оказались слабы.

Алексей Подосенов приблизился к Крутову, шагая вровень, спросил:

— Послушай, Федор Степанович, может, казаки не знают, что есть царский манифест? Не сказали им?

— Да, конечно. — Федор усмехнулся, удивляясь наивности вопроса. — Сам посуди: есть у тебя что-то свое, разве отдашь

даром? Манифест обещает, а обещания, сам знаешь, кто любит выполнять.

— К дьяволу тогда мне этот манифест. Нечего было и шуметь о нем.

— И я так думаю. — Заметил, что прислушиваются другие, пожалел: «Плохо, не удалось побывать на митинге. У каждого уйма вопросов. Лицемеры могли бы лучше объяснить, какая цена царским обещаниям».

— Мы когда всем скопом пошли против власти — тут забастовка, там восстание, — царю куда деваться, вот и написал бумагу, наобещал. А на деле — как было, все осталось по прежнему.

— Подтереть мягкое место его бумагой.

— Все теперь от нас самих зависит: доведем до конца борьбу — выиграем; успокоимся — тогда нам дадут, не поздоровится...

Федор невесело поглядывал перед собой, думал. Прийти сейчас на фабрику и разойтись — считай, день пропал зазря. Чего доброго, еще разуверятся в своих силах, самые нерешительные пойдут завтра к директору с повинной и встанут к машинам. Забастовка сорвется, так и не успев развернуться. Попробовать бы провести свой митинг...

— В такую-то погоду, на улице, — с сомнением покачал головой Василий Дерин, когда Федор сказал ему об этом. — Заябли все, промокли. Будут рваться в тепло.

В слободку пришли, когда уже начало темнеть. Стегал холодный ветер с дождем. О митинге и думать было нечего. Федор только и объявил нахохлившимся, промокшим людям, что утром на площади назначается сходка, где следует договориться, какие требования предъявлять владельцу.

Колонна быстро растаяла. Несколько человек еще осталось. Подосенов с Василием Дериным стаскивали флаг с древка. Отсыревшее полотно Василий с бережью свернул, убрал за пазуху. Палка осталась у Подосенова — завтра пригодится.

В это время и подошли Артем с Егором. Их встретили удивленцем. Знали, что ребята остались в городе. Сбивчиво те стали рассказывать, что случилось.

...Пролетка подъехала к больнице, и Артем сразу побежал за Варей. Мироныч очнулся, застонал, когда его переносили в палату на второй этаж. Кажется, узнал идущую рядом Машеньку, хотел что-то сказать, но губы только дрогнули.

Варя вызвала доктора Воскресенского. Он пришел заспанный, недовольный. Долго ощупывал больного, сердито хмыкал. Заметив долгий, почти безжизненный взгляд Мироныча, сказал ворчливо:

— Великолепно отделали вас, молодой человек. — Покачал головой, показывая тем, что спасти больного может только чудо.

Мироныч пошевелил губами, но никто ничего не рас石家.

Артема и Егора в палату не пустили, они уселись внизу, в коридоре. Прошло более часа. Но вот, сутуясь, с лестницы спустился Воскресенский. Глядел на парней, соображая, зачем они тут.

— Вы кто такие? — спросил сурово.

— Это мы привезли больного, — поспешил объяснить Артем. — За ним может приехать полиция. Мы останемся здесь.

Чуть заметная усмешка тронула губы Воскресенского.

— Решение похвальное, — заявил он. — И все-таки придется по домам, молодые люди. — Заметив движение Артема, желание спросить о больном, поспешил опередить: — Сколько пролежит ваш товарищ, сказать не могу. И обещать ничего не хочу. Наведываться можно, разрешаю.

Ребята не знали, что делать. Наконец Артем робко попросил позвать Машеньку.

— Машеньку? — переспросил Воскресенский. — Ах да, ту девушку...

Ничего не добавив, снова стал подыматься на второй этаж.

Вскоре вышла Машенька, бледная, с темными кругами у глаз.

— Идите, ничего больше не нужно, — тихо сказала она. — Доктор наш друг. Мироныч здесь в безопасности. В случае чего, Варя все передаст.

Артем тяжело вздохнул, но все-таки достал револьвер, решительно протянул Машеньке.

— Возьмите. Вдруг понадобится.

— Что ты! — отстранила она его руку. — До этого не дойдет. Не возьмут же они его в таком состоянии, если даже узнают, что здесь. Убери.

Они простились и вышли из больницы. Извозчика не было. Егор хоть и предупреждал его, чтобы был нем как рыба, мужик обещал, но все может быть: не заедет ли он сразу в полицейский участок?

На площади они наткнулись на своих как раз кстати.

Узнав обо всем, Федор заторопился в больницу, сказал, что ночь он проведет там, а завтра придется подумать, как понадежнее спрятать Мироныча. До больницы его пошел провожать Василий Дерин.

— Вот что мне в голову пришло, — сказал Василий. — Завтра в требовании надо указать, чтобы для митингов директор дал помещение. Фабричное училище — вот что нам надо. Казаки — другое дело, с них требовать — себе в ущерб. А директор знает, что по манифесту нам разрешено собираться. Противиться будет — силой возьмем. Не занимать силы, против полиции хватит. А войска пришлют — что ж, тогда поглядим. И вообще нам теперь нужно место, куда бы люди приходили советоваться... К директору-то завтра без тебя пойдем. Меня арестуют — не беда. Тебе надо беречься. И еще, с квартиры тебе придется уйти. Спрячем у кого-нибудь. Раз уж стал верховодить нами, так и береги себя, лап ихних избегать надо. А то быстро схватят.

— Не то что-то говоришь, — недовольно возразил Федор. — Об училище хорошо придумал, так и сделаем. А с квартиры зачем уходить?

— Надо. Я так понимаю: борьба пошла в открытую. Я еще думаю, людей к тебе приставим. Родион выделит шустрых ребят. Даваться сейчас в руки полиции не резон. Понял меня?

— Ладно, об этом после, — досадливо отмахнулся Федор. — Меня сейчас другое беспокоит.

В высоком изразцовом камине, украшенном чудо-птицами, жарко трещат дрова. Тепло, дремотно. Рогович подошел к окну. Стоял, опустив плечи, прислушивался, как стегает снежная крупа по стеклам. Совсем невдалеке от губернаторского дома звякнул сухой винтовочный выстрел.

Рогович поднес ладонь к уху, пождал — не выстрелят ли еще. Сказал расслабленно:

— Алексей Флегонович, а ведь зима стучится. С ружьем бы сейчас по зайцу...

Ответа не дождался. Все еще прислушиваясь, рассеянно взглянул на Грязнова, сидевшего в низком кресле. Дирек-

тор Большой мануфактуры был сердит, взволнован. Нервио мял в руках носовой платок, хмурился.

По пути сюда в торговых рядах видел погром. Толпа била стекла, растаптывала ящики с конфетами, с печеньем. Наблюдал, как громили колбасную фабрику Либкена. Осталось одно здание с провалами окон — все остальное разбито, порушенено. Дюжие молодцы задержали пролетку директора, хотели опрокинуть. Едва ускакали.

Что ж, Грязнов вправе негодовать на толпу: надо знать, кого трогать. Да и фабрику жаль: Либкен умел делать чесночные колбасы.

Тоненько скрипнула дверь. Рогович, не оборачиваясь, узнал шаги секретаря. Поморщился: опять какие-то неотложные дела. Спросил недовольно:

— Что там?

— Получили телеграмму...

Не отрываясь от окна, Рогович протянул руку. Прочел. Министерство внутренних дел запрашивало, какое впечатление произвел высочайший манифест. Усмехнулся едко. Не таясь Грязнова, сказал равнодушно:

— Ответьте: манифест принят с восторгом. На улицах идет стрельба.

Секретарь, молодой человек с худощавым, вытянутым лицом, удивленно вскинул бровь. Стоял, не решаясь уходить.

— Как вы изволили сказать? — робко переспросил он.

— Как услышал. Принят с восторгом. На улицах идет стрельба.

Секретарь облизнул пересохшие губы. Почтительно принял телеграмму из рук Роговича, неслышными шагами пошел к двери.

Грязнов с горечью проговорил:

— Куда девался наш хваленый порядок? Меня удивило, что на месте погона не было ни одного полицейского. Никто не пытался остановить грабеж.

Губернатор усмехнулся, промолвил скучливо:

— Полицейские чины в такой же растерянности, как и многие из нас. Один бог знает, что будет дальше... Было время, вы предлагали сокращение рабочего дня, вот и введите его, это успокоит рабочих.

— В то самое памятное время вы говорили о вреде послабления, твердость, мол, нужнее, — отчужденно возразил Гряз-

нов. — Она понадобилась сейчас, эта твердость. Почему вы не принимаете никаких мер?

Рогович подошел к Грязнову, внимательно вглядываясь в нахмуренное лицо собеседника. Сказал мягко, с усталостью в голосе:

— Не таите на меня обиды, Алексей Флегонтович, но для охраны фабрики не могу выделить ни одного человека. Посоветуйте Карзинкину поладить с рабочими.

— Вы не представляете, что они требуют!

— Могу догадываться. И все-таки найдите, как поладить с ними. — Рогович неожиданно усмехнулся, сказал о другом: — А вы далеки от природы, Алексей Флегонтович. Я когда сказал про охоту на зайца, вы даже не пошевельнулись...

— У нас очень странный разговор, — обиженно сказал Грязнов.

Губернатор опять прошел к окну. Темнело. За голыми деревьями, росшими по крутому берегу, вспыхивали белые барашки волн — пустынная Волга заставляла думать о чем-то далеком, грустном.

— Откровенно сознаюсь, Алексей Флегонтович, сегодня у меня прощальный день. Ухожу от дел.

— Вы выбрали удачное время, — съязвил Грязнов.

— Не сомневаюсь. — Губернатор словно не заметил схи-дного тона. — Хотите полюбопытствовать, чем я обосновываю свое решение?

— Сочту за честь, — без особого желания проговорил Грязнов.

Рогович взял со стола кожаную папку, вынул из нее лист бумаги, исписанной нервным размашистым почерком. Грязнов принял. Читая, не мог скрыть удивления.

«Представляя при сем прошение об увольнении меня от должности ярославского губернатора, позволю себе объяснить причину этой просьбы.

Меня ошеломило появление Высочайшего манифеста от 17 октября, и я сознаю, что я совершенно непригоден оставаться на службе при наступивших обстоятельствах.

Как представитель твердо сложившихся старых консервативных взглядов, я в сорок семь лет не могу себя переделать и становиться гибким «агентом власти», приоравливающим свои убеждения к программе графа Витте, которая приводит меня в ужас за будущее России. А. Рогович».

Грязнов бережно положил прошение на стол. Рогович терпеливо ждал, что он скажет. Молчание затягивалось.

— Государю будет приятно прочесть ваше письмо, — с прорвавшейся завистью сказал наконец Грязнов. — Нынешняя сумятица не может долго продолжаться, мы еще увидим старые добрые времена. Вы, заявивший сейчас о преданности престолу, не будете оставлены вниманием.

— Меня поражает ваше безошибочное чутье, — весело сказал Рогович. — Однако в мыслях моих не было ничего похожего, о чем вы говорите. Я высказываю свою боль, свое возмущение неумелыми действиями правительства. И только.

— Да, да, — рассеянно отозвался Грязнов.

«Милостивый государь!

Наше распоряжение встречено отдельными рабочими крайне неодобрительно. Нашлись гуляки, которые осмеливаются указывать, что работа сразу по девять часов будет им тяжела и лучше оставить старую разбивку смен — заработку и доработку (по четыре с половиной часа каждую!).

Особенно недовольны денежные рабочие, для которых установлен десятичасовой день. Они собираются толпами, кричат, не понимая того сами, что требуют. Они хотят сокращения рабочего дня еще на три с половиной часа в неделю, устроить кассу взаимопомощи и иметь выборного старосту в каждом отделе, который стал бы защищать их права перед администрацией. До чего додумаются дальше — неизвестно.

Мною объявлено, что если рабочие недовольны новым расписанием, то, идя навстречу их пожеланиям, администрация отменит его. Сообщение это отрезвило горячие головы, и теперь пожилые рабочие сами останавливают смутьянов.

Кроме сего, сообщаю, что ткачи намерены судиться с администрацией за якобы долголетний обмер — они обнаружили, что выработанные куски миткаля имеют не шестьдесят аршин, как указывается в расценочной табели, а на два и четыре аршина больше. Действия ткачей рассчитаны на явный скандал, дабы вызвать к себе сочувствие всего города. На фабрике идет сбор денег, нужных для ведения судебного процесса. Поговаривают, что вести их дело будут студенты юридического лицея. Мною кое-что предпринято, и, надеюсь, их притязания признают необоснованными.

Мне и раньше приходилось указывать на бездействие местных полицейских чинов. В слободке открыто говорят о вооруженной рабочей дружине, которая собирается для обучения в сосняке за Новой деревней и у Сороковского ручья. Третьего дня, гуляя в парке, я сам слышал сильный взрыв и немало дивился, что бы это могло значить. После доверенные лица сообщили, что дружинники испытывали бомбу, которых у них имеется несколько штук. На мое категорическое заявление полицейское управление ответило, что о рабочей дружине известно и принимаются меры к тому, чтобы разоружить ее. Будем надеяться, что так оно и станет.

До сего дня фабрика работает с большими перебоями, хотя готовый товар отправляется в Ваш адрес каждодневно. Крайне желательно Ваше присутствие, чтобы окончательно уяснить, на какие из пунктов требования можно согласиться. Остаюсь преданный Вам А. Грязнов».

ГЛАВА ПЯТАЯ



1

Над городом плыл тягучий колокольный звон — в церквях звали к заутрене. Сквозь темь ночи пробивался неторопливый зимний рассвет. Сторожа собирались вместе, говорили о том, о сем. «Нынче, вроде, не кричали». — «Какое не кричали — было». Вздыхали (больше для порядку — ко всему уж привыкли в последнее время) и шли по домам. На улицах появлялись первые прохожие.

Наступал воскресный, похожий на сотни других день. Куда пойти, чем заняться? Вспомнишь, что было раньше: с утра ехали и шли к Которосли, смотрели, как спибаются на льду городские парни с фабричными; в полдень у Романовской заставы на большом расчищенном от снега поле, глядишь, объявлены скачки; вечером под руку с женой можно погулять у «Столбов» — ресторана возле Ильинской площади. Есть еще театр — первый на Руси, когда-то известный тем, что все лучшие акте-

ры считали своим долгом хотя бы раз сыграть на его подмостках. Туда, сюда — вот и прошел день.

Нынче затаился город: ни кулачных боев, ни скачек, не хочется идти и к «Столбам». На улицах то и дело стрельба. Бродят толпами дюжие молодчики из черной сотни, бьют стекла в лавках, задирают прохожих. Полицейских, которые останавливали бы их, днем с огнем не сыщешь, попрятались по домам, затаились.

Теперь устанавливать порядок прибыли казаки. Устанавливать-то порядок прибыли, а сами его блюсти не могут: то кого-либо побьют, то ни за что обругают, в трамвае кондуктор билет с них не спрашивай — выкинут за ошорок на полном ходу... Куда пойдешь, если кругом бесчинства!

Иной обыватель сидит дома, томится, а потом перекликнется с соседом, заявится к нему. Пьет до одури, спорит до хрипоты. Вечером, кутаясь в одеяло, долго не может уснуть: «Ох-ох, жизнь наша преходящая!..» Вдруг привстанет на локте, спросит в темноту:

— А чего надо? Работа есть, крыша над головой есть... Отчего бунтуете?

Ждет обыватель не дождется, когда дотопчет последние лапти бурный и суматошный 1905 год. Авось в новом году все успокоится, все придет в норму.

На площади возле часовенки оглядывался по сторонам человек. Он только что вышел из трамвая и сейчас будто не знал, куда идти. Был он чуть выше среднего роста, черные усы, нос удлинен и на нем пенсне, цепочка от которого уходила в нагрудный карман. Пальто не новое, но доброго сукна, шапка пыжиковая разлохматилась на голове, словно бы приплюснула ее. Человек не здешний, сразу видно.

Егор Дерин и Артем Крутов стояли поодаль, не спускали глаз с незнакомца. Вот он остановил женщину, проходившую мимо, спросил что-то. Она указала на красное здание — фабричное училище, и он крупно зашагал к нему.

Парни пересекли дорогу, встали на пути. Егор спросил строго:

— Вы кого ищете?

— Училище, — ответил незнакомец и хотел обойти их.

— Да училище рядом, — сказал Егор, задерживая незнакомца плечом. — Кого там надо?

Тот отступил, пожал плечами и, помедлив, сам спросил:

— А вы кто такие?

— Мы-то? — вяло переспросил Егор. — Мы здешние, сторонние.

— А-а! — сказал незнакомец. Около училища толпится народ, а здесь на площади пусто, пройдет разве кто по своим делам, и опять никого нет. А как-то надо отвязаться от парней. — Вот что, — сказал с напором. — Проведите меня в стачечный комитет.

Парни сразу взъерошились. Опять Егор спросил:

— Зачем?

— Надо, — уже смелее сказал незнакомец.

Теперь Егор проговорил протяжно:

— А-а! — и добавил с угрозой: — Не спеши, коза, все волки твои будут. — Приблизил губы почти к уху незнакомца, посоветовал: — Шпик, тогда кланяйся своим. Вот трамвай, как раз отходит будет. Топай.

На площади появился хромой Геша. Пошатываясь, орал самозабвенно:

Уж как наши-то отцы
Ох и были молодцы...

Егор повернулся, ожесточенно погрозил Геше кулаком. Тот понимающе закивал, развел руки — больше ша, не будет. Но, отошедши подальше, снова гаркнул:

Нищета да голодовка —
Вот и вышла забастовка...

— Неужели похож на шпика? — спросил незнакомец. Он уже совсем успокоился, повеселел. Снял пенсне и начал протирать стекла белоснежным платком. Без пенсне лицо его стало не таким загадочным. Егор сказал:

— Отведи его, Артем. Передай с рук на руки.

Незнакомец оглядел Артема: в короткой куртке на вате, в сапогах, лицо скуластое, доверчивое, совсем еще мальчик. Сказал, когда отошли от Егора:

— Раз вы дружины, так хотя бы бантики прицепили. В городе черносотенцев полно. Сначала подумал: и здесь на них нарвался.

— Идите, не разговаривайте, — грубо посоветовал Артем.

— О, у вас тут строго, — не унимался незнакомец.

В училище в большом зале, уставленном скамейками, полно фабричных, спорят, чего-то ждут. Узким проходом Артем прошел незнакомца через весь зал на сцену, наполовину закрытую занавесом. В углу сцены за длинным столом сидели члены стачечного комитета — представители отделов — всего человек десять. Перед ними на скамейке женщина лет тридцати, зябко куталась в теплый полушалок.

Появление Артема с незнакомым человеком отвлекло их, все вопросительно смотрели на вошедших.

— Вот, — сказал Артем, обращаясь к отцу, — Федор сидел с краю стола, — ищет стачечный комитет.

Незнакомец представился:

— Емельянов. От городского комитета.

— Садитесь, товарищ, — кивнул Федор. Мельком окинул фигуру Емельянова, подумал с досадой: «Просил ведь прислать оратора попроще, так нет, выискали... Стекляшки на носу... Поневоле вспомнишь Мироныча». — О чем будете рассказывать?

— Могу о девятом января — очевидец, могу о русско-японской войне, о сущности каждой партии, — непринужденно стал перечислять Емельянов.

— Много вы можете, — не без иронии заметил Федор. — Что ж, послушаем, но придется обождать: митинговать начнем позднее.

Он сразу же забыл об Емельянове. Повернулся к женщине, которая нервно теребила концы полушалка, отводила в сторону лицо.

— Так ты говоришь, что евреи выкради у тебя двоих малолетних детей, убили и закопали в подвале, где ты их и нашла. Так, гражданка Стетухина?

— Точно так, — закивала женщина.

— Когда же это было?

— На днях, на днях, батюшка. — Закрыла лицо руками, заголосила: — Кровинушки вы мои несчастные, за что мне, господи, такое наказание-е...

— Не вой, — оборвал ее Федор, — говори, зачем мучишь народ?

— Ой ли! — воскликнула Стетухина. — Да разве я вру! Все истинно так, как сказала. В подвале...

— Ладно, слышали, — оборвал ее Федор. — Ты что на это скажешь, Марфа?

Из-за стола поднялась Марфуша Оладейникова. Старенькая бархатная жакетка расстегнута, платок спущен на плечи, лицо разрумянилось от волнения.

— Соседки твои, — сказала, обращаясь к женщине, — Анна Борноволокова и Катерина Вязникова в один голос заявили, что детей у тебя нет и не было.

— Объясни, зачем распускаешь эти слухи? — продолжал спрашивать Федор.

Стетухина приложила руки к груди, сказала покаянно:

— Прости, батюшка, грех попутал. Сон мне такой приснился. Будто у меня детишки малые, уж так их нежила... Пропали потом они... Рассказала одному, другому, и пошло кругом.

Федор оглядел сидящих за столом.

— Что с ней будем делать?

— Выпороть перед всем народом, вдругорядь подумает, как болтовней заниматься, — предложил Дерин.

Стетухина посмотрела на него с испугом — поверила, что так и сделают. Приготовилась завыть.

— А не научил ли кто тебя? — высказал догадку Федор. — Затем, чтобы озлить людей, на погромы толкнуть, на хулиганство. А тут войска... Ну-ка, отвесь нам.

Стетухина съежилась, спрятала лицо в полушалок.

— Отвечай, если спрашивают, — поторопил Федор.

— Научили, родимый. Чтоб ему пусто было! Попузнев научил, городовой, что на базаре в будке стоит. Рубль дал и обещал заступаться...

Комитетчики заволновались, послышались возгласы:

— Выгнать из слободки Попузнева. Чтоб духу не было.

— Пусть сама перед народом повинится.

— Вот так, — тоном приказа сказал Федор, выслушав мнение членов комитета. — Сейчас соберутся рабочие, все им и расскажешь. Без утайки!

— Расскажу, батюшка, все расскажу, — затараторила женщина, обрадованная тем, что хоть больше никакого наказания не предвидится.

Она ушла, комитетчики полезли в карманы за табаком. Им предстояло разобрать еще несколько неотложных дел. Пока решили отдохнуть.

Емельянов прислушивался к их разговору с любопытством. Воспользовавшись перерывом, сообщил Федору:

— Селиверстов просил кланяться...

— Да? — Федор улыбнулся, глаза заблестели. — Где он сейчас?

— Я два дня как из Москвы. Там и встречались.

— Придется увидеть — передавай ему и от нас. Может, приедет когда, так будем рады. С Миронычем у нас плохо...

Он не успел договорить — на сцену ворвалась злая, встрепанная Марья Паутова. Дико крикнула:

— Вот они! Заседают, а тут жрать нечего. — Подступила к Федору, того гляди вцепится ногтями в лицо. Федор невольно отпрянул.

— Что с тобой? Ошалела?

— Это ты ошалел! Давай денег!

— Каких денег? — удивился он.

— Каких! Из-за вас не работаем. Детишки с голода пухнут. Ты тут главный, ты и виноват...

— Не шуми, — попытался остановить ее Федор. — Многосемейным помогать будем из стачечного фонда. Тебе обязательно выделим. Подожди немного, нет денег пока.

— Какое мне дело, — заплакала женщина. — Чем-то кормить их надо. За подол тянут... В лабаз придешь — в долг не дают. Скоро ли все это кончится?

Федор поднялся, обнял женщину за плечи, стал успокаивать.

— Всем не сладко, понимаю. Сегодня пойдем к владельцу, будем требовать.

Потом повернулся к Алексею Подосенову, сидевшему с другого края стола:

— После перекурим. Приглашай да пора в контору.

Подосенов отправился в зал. Вернулся он с тремя мужиками, боязливо ступавшими следом. Это были владельцы трактирков, которые располагались в слободке.

— Гражданин Ивлев, гражданин Постнов и гражданин Осинин, — сурово обратился к ним Федор. — Несмотря на предупреждение, вы продолжаете торговать водкой. Стачечный комитет решил на первый раз оштрафовать вас. А если еще узнаем, запечатаем ваши заведения.

— Господин стачечный председатель, — сказал мужик с окладистой черной бородой — Ивлев. — Как же без водки-то? Требует посетитель. — И смиренно развел руки: дескать, рады бы, да вынуждены.

— Пока будете без водки, — непреклонно заявил Федор. — Нарушать нам порядок, дисциплину не позволим. Внесите в

стачечный фонд штраф по пятнадцати рублей. И думаем, больше с вами не придется говорить об этом.

Мужики закланялись — еще легко обошлось, могло быть и хуже, — направились к Подосенову. Тот принял от каждого деньги. Мусоля карандаш, стал писать расписки: «Деньги за нарушение порядка от гражданина... принял в сумме пятнадцати рублей».

Федор, Марфуша и Василий Дерин отправились в контору. Другие остались, — в зале было полно рабочих, пора открывать митинг.

2

— Так говорите, добился Рогович отставки. Я-то думал, для правительственные чиновников совесть — обуза, от которой они спешат избавиться. Как бы вы ни считали, а его поступок тронул меня. Не перевелись еще на Руси смелые люди.

Карзинкин шуршал газетой, покачивал головой, просматривая городскую хронику, за разговором пытался отвлечься от тяжелого ожидания.

Грязнов стоял у окна; заледенелое с улицы, оно пропускало мутный свет. В конторе было тихо, непривычно без монотонного гула фабричных машин.

— Не веселые сообщения, дорогой Алексей Флегонович, — продолжал устало Карзинкин, откладывая газету. — Психозом охвачены не только наши рабочие.

— Вчера сообщили: встала гаврилов-ямская фабрика, вот-вот остановится сакинская, что вблизи Карабихи... Сейчас выгоднее пойти на затраты. Придет такая пора — установим прежние расценки.

— Я всецело доверяюсь вашему опыту, Алексей Флегонович. И даже такой разор, как десять процентов надбавки, меня уж не пугает.

— Было время, они об этой милости и мечтать не смели, — задумчиво произнес Грязнов.

Он открыл форточку, подставил грудь морозному воздуху, клубами рвавшемуся с улицы. Сказал с наслаждением:

— Хорошо!

— А вы измаялись в заботах, — сочувственно заметил Карзинкин, вглядываясь в посеревшее, с темными впадинами у глаз лицо директора. — Вот кончим мы полюбовно с рабочими и поезжайте куда-нибудь, встряхнитесь. Супруга рада будет. Как ее здоровье?

Взгляд Грязнова смягчился. Захлопнул форточку, расслабленно подошел к столу, стоял, любовно поглаживая серебряный колокольчик для вызова.

— Ждем наследника, — сказал улыбаясь.

— Рад за вас и хочу быть крестным, если позволите.

— О, для нас это большая честь!

Ждали депутатов от рабочих. Они были с утра, и им было заявлено, на какие уступки может пойти владелец фабрики. Карзинкин прикладывал руку к сердцу, вспоминал, как много добра делается для рабочих. Депутаты молча выслушали и сказали, что хотят посоветоваться с миром, что как только договорятся, придут в контору. Вот и сидели, томясь ожиданием, успокаивали себя беседой.

— Да, совсем забыл, — вскользнулся Карзинкин. — Я получил письмо табельщика Егорычева. Обижен он на вас.

— Ничего не мог сделать. Нехорошо вышло, но спорить с разъяренными женщинами было небезопасно.

— У него большая семья?

— Кажется, трое детей.

— Да, нехорошо. Вы хоть квартиру за ним оставили?

— В квартире живет.

— Можно было перевести его хотя бы в ткацкий корпус.

— Не настаивайте, — возразил Грязнов. — Сейчас невозможно.

— Верю. — Карзинкин вдруг усмехнулся, повеселел. — Значит, манифест принят восторженно, на улицах идет стрельба. Так, кажется, ответил на запрос правительства Рогович?

— Представляете, что делалось в те дни — показываться на улицах было опасно. На Духовской студенты лицея столкнулись с черной сотней. Бились без пощады. Главаря лицеистов затоптали почти до смерти, известный будто бы социал-демократ. Полиция спохватилась, когда уже страсти разгорелись вовсю. Теперь этого главаря, которого сумели вырвать и увезти, ищут и найти не могут. После этой драки лицеисты открыто объявили в газете, что для собственной охраны создали отряд вооруженных дружинников. Что-то еще будет...

— Страсти вы рассказываете, Алексей Флегонович, — пожившись, сказал Карзинкин. — У меня на этот счет более радужные мысли. Пошумят, покричат и успокоятся. Давайте-ка про что-нибудь веселенькое. Что Вахрамеев? Слух шел, будто проиграл кому-то на скачках, после скандалил.

— Было, было, — подтвердил Грязнов. Отвлекаясь от мрачных мыслей, стал, смеясь, рассказывать: — Теперь скачки забросил. Выпил из-за границы автомобиль и опять первым стал — ни у кого в городе нет подобной штуки. Гоняется на нем за прохожими, ужас наводит.

— Жаль его скакуна. Хорош был.

— Чучело до сих пор красуется во дворе завода...

За дверью послышался топот ног. Заглянул Лихачев и спросил:

— Пришли. Можно впустить?

— Приглашайте, — кивнул ему Грязнов.

Вошли Крутов, Дерин, Марфуша.

— Рассаживайтесь, господа, — добродушно предложил Грязнов. — Сообщайте, о чем договорились.

Пока подвигали стулья, садились, Карзинкин оглядывал вошедших. С особым любопытством наблюдал за Марфушей. Чувствовалось, что она робела и старалась скрыть свое состояние — лоб хмурит, смотрит строго.

Подумал неприязненно: «Женщин втягивают в мужские дела».

— Согласны вы на уступки, объявленные владельцем фабрики? — спросил Грязнов.

Смотрел он на Крутова, и Федор ответил:

— Рабочие решили бастовать, пока не будут удовлетворены основные пункты петиции.

Грязнов жестко усмехнулся:

— Некоторое время назад, когда по милости владельца был сокращен рабочий день, помнится, вы что-то говорили о благодарности — рабочие-де спасибо скажут. Сейчас вас не устраивает десятипроцентная прибавка к зарплате. Чем это объяснить? Аппетит разгорелся?

— А как же, Алексей Флегонович! — охотно подтвердил Федор. — Точно изволили подметить. Полумер нам не надо. Сил хватает на большее.

Грязнов повел взглядом на Карзинкина. Тот сидел, полу-прикрыв глаза, с внешним безразличием на лице.

— Вы неглупый человек, Федор, то и дело напоминаю вам (Федор рассерженно приподнялся, поклонился картино). Я не шучу. — И уже распаляясь гневом: — Какие могут быть шутки!.. Вы никак не можете понять: кто допустит, чтобы в управление фабрикой вмешивались люди, не имеющие на то оснований? Вы понимаете, что такое частная собственность? Если у вас есть сапоги, вы их и топчете...

— Понимаю. Поймите и вы, как неловко происходит. Господин Карзинкин, — Федор кивнул в сторону владельца фабрики и снова впился в сумрачное лицо Грязнова, смотрел пронзительно, с глубокой ненавистью, — господин Карзинкин в свое время приобрел фабрику, сделал затраты. Рабочие помогли ему вернуть эти затраты с большими процентами. Почему у Карзинкина чем дальше, тем больше получается выигрыша, а у рабочих были гроши — гроши и должны оставаться? Это, по-вашему, справедливо? Рабочие своим трудом откупили фабрику у владельца. Она стала их собственностью.

Карзинкин грузно поднялся, высокомерно посмотрел на рабочих.

— Последнее слово, — отчеканил он громко. — Десять процентов надбавки или фабрика будет закрыта и все рабочие получат расчет. Закроется и продовольственный лабаз.. с сегодняшнего дня.

Депутаты переглянулись. Еле заметным кивком Василий Дерин подбодрил Федора.

— Рабочие хотят жить по-человечески, — сказал Федор. — Они уполномочили нас заявить об этом...

— Вы же умрете голодной смертью, если будете упрямостоять на своем, — вмешался Грязнов, все еще никак не веря, что рабочие станут продолжать забастовку, по-прежнему станут митинговать в фабричном училище. «Что они еще выдумают на этих митингах, уму непостижимо!»

— ...Рабочие не позволят провести на фабрике расчет, — твердо продолжал Федор. — Они не позволят закрыть продовольственный лабаз. — Сделал паузу, чтобы лучше уяснили все значение этих слов и добавил: — Кроме того, рабочие требуют вовремя выдать зарплату за дни забастовки и перечислить в фонд стачечного комитета штрафные деньги, которых, по нашему сведению, насчитывается шестьдесят тысяч рублей.

— Этого никогда не будет, — заявил Карзинкин. — Можете передать им.

Вернулись в училище, где шел митинг и где их ждали. На трибуне стоял Емельянов. Длинный стол, за которым сидели члены стачечного комитета, был придвинут к краю сцены. У Федора лицо вытянулось от удивления, когда он увидел за столом вместе со всеми попа Предтеченской церкви Павла Успенского. «Этот еще как затесался сюда!»

Поп был грузный, выширающее брюшко заставляло его сидеть прямо, даже чуть откинувшись назад. Холеная пегая борода распущена по груди, лицо скорбное.

Успенский появился в училище незаметно, встал сзади за колонной, слушал. Первые увидели его женщины, пригласили пройти вперед и присесть. Он пошел по проходу — люди почтительно расступались. Ему освободили место в первом ряду, и он мог бы сесть, но не остановился, поднялся по короткой лесенке на сцену. Алексей Подосенов встал на его пути, спросил недружелюбно:

— Слuchaем, батюшка, не запамятовал? Здесь митинг.

— Вот и иду на митинг, — уверенно отвечал Успенский. — Сыны мои! — громовым голосом возвестил он. — Смирайте гордыню, ибо нет добра от упрямства...

Подосенов растерянно оглянулся на Емельянова. Тот махнул рукой — пускай себе говорит.

— Зачем вы детей своих истязаете? Женам зачем забот добавили? — вопрошал Успенский. — Ищите прежде царствия божия и правды его, и все приложится вам...

— Старая песня! — озорно выкрикнул из зала безусый мальчишка с косой светлой челкой на прыщеватом лбу. На него тут же зашикали, и ему пришлось поспешно спрятаться за спины своих дружков. Но после его выкрика в разных местах послышались возгласы, возникли споры.

Прислушиваясь к гулу, Успенский, видимо, понял, что в самом деле поет не ту песню, не о том сейчас надо говорить собравшимся здесь людям. Угрозы и заклинания только еще больше ожесточат их.

— Выслушайте, сыны мои! Всякая забастовка в настоящее время есть грех перед богом, царем, обществом и всем миром, — мягко начал увещевать он. — Государь призывает всех дружно помочь ему в переустройстве страны. Отсюда, бастовать — значит препятствовать правительству, его работе на общую пользу. Да, это так, фабричный труд низвел миллионы людей на степень простых рук, — опять выкрикнул он. — Предстоит их

вывести из состояния простых орудий на степень и высоту человека. Того требует право и справедливость. Государь это заметил и вмешался. Уже в ближайшем будущем мы увидим плоды его устремлений. Но, сыны мои, не надо думать, что будут удовлетворены все желания социалистов... Никогда такого не станет, чтобы все люди были равны. Посмотрите в поле: каждая травка, каждая былинка разная... Все в руках божьих!..

— Постой-ка, святой отец! — вмешался Емельянов. Он внимательно прислушивался к словам Успенского и теперь решил, что пора возразить ему. Встал рядом, настойчиво отжал попа к краю трибуны. — Как же так, — сказал он. — У меня вот был знакомый садовник, так он к любому деревцу относился заботливо. Каждой яблоньке в его саду было хорошо. Все они у него были ровные, кудрявые. А в нашем саду — государство что-то по-другому...

Емельянов стал рассказывать, что правительство, напуганное широким движением рабочих, вынуждено сейчас идти на некоторые уступки. Но было бы напрасно ждать от него коренных реформ. Уничтожить зависимость одного человека от другого можно только тогда, когда все орудия производства станут народным достоянием.

Говорил он горячо и слушали его внимательно. Успенский неодобрительно покачивал головой и по всему видно было, что не хотел сдаваться. Дожидаясь, когда Емельянов закончит речь, он подсел к столу.

Депутаты стали пробираться вперед. Люди молча теснились, давали им дорогу. В глазах многих немой вопрос и надежда.

Емельянов отступил от трибуны, освобождая место Федору. Тот оглядел притихший зал, с горькой усмешкой сообщил:

— Встретили нас вежливо, усадили. Выслушали, не перебивая...

Настороженный гул прокатился по рядам. Федору пришлось переждать, когда волнение утихнет.

— А удовлетворить наши требования Карзинкин не захотел, — уже громче продолжал он. — Уперся как и утром: десять процентов надбавки и все. Если с завтрашнего дня не встанем на работу, пригрозил полным расчетом. И еще объявил, что закроет лабаз...

— Не выйдет! Ишь чего захотел!

— Голодом морить собирается, аспид хищный! Не дадим!

— Все равно ничего не добьемся!

- Согласиться! И то ладно, хоть прибавку дает.
- Требовать!
- Стоять на своем!

Крики неслись со всех сторон. Федор прислушивался, приглядывался к распаленным злостью лицам. В общем гаме трудно было разобрать, куда склоняется большинство.

К трибуне сквозь толпу лез мастеровой — жесткая, задорно вздернутая бородка, волосы взлохмачены, размахивает рукой, в которой держит смятую, видавшую виды шапку, — Арсений Поляков из ткацкой фабрики.

Вскочил на сцену, крикнул:

— Чего мы добьемся? — И сам ответил: — Ничего нам не добиться, потому что многое захотели. Владелец дал прибавку и хватит, спасибо ему...

— Достойно поощрения! — оживляясь, сказал Успенский, поднялся, порываясь к трибуне. Емельянов положил руку ему на плечо, остановил:

— Сидите, батюшка, вы свое сказали.
— Завтра я пойду на работу, слушаться никого не буду, — продолжал кричать Поляков.

— Тащись! Подлизала и есть, правильно говорят.

— Все пойдем!

— На-ко, выкуси!

Поляков спрыгнул со сцены, смешался с толпой. В зале творилось что-то невообразимое: люди толкались, яростно кричали, никто никого не слушал.

— Долой!

— Тише вы, дьяволы! — приподнявшись за столом, загремел Василий Дерин. Его громовой голос перекрыл шум. В разных местах послышались вразумляющие возгласы:

— Помолчите! Давайте слушать!

— Говори, Крутов, что будем делать!

— Нечего говорить: бастовать и все тут!

— Бастовать!

Федор терпеливо ждал. Пока люди не выговорятся, трудно прийти к чему-либо определенному. Взгляд упал на Емельянова, сидевшего с краю стола, рядом с Успенским. Кажется, его нисколько не волновало то, что происходило в зале. Тер носовым платком стеклышки очков и будто даже улыбался. Федор снова пожалел, что нет рядом Мироныча: тот сумел бы привлечь внимание и сказать, что нужно.

— Угомонились? — насмешливо бросил он в зал, заметив, что шум стал стихать. — Ну тогда в самый раз...

— Начинай, Крутов, нас не переждешь.

— Спрашивали, что будем делать, чем ответим на угрозу Карзинкина? Я предлагаю обратиться к служащим, призвать их к забастовке. Чтобы они отказались делать расчет...

— Ого! Так они и послушают.

— Попробуем, — спокойно ответил Федор. — Предлагаю также выставить охрану в лабаз, не разрешать Карзинкину закрыть его. Так?

— Только так!

— Правильно!

— Когда Карзинкин почувствует, что мы готовы бороться до конца, он вынужден будет согласиться с нашими требованиями... Можно и по-другому, как предлагал здесь Арсений Поляков, — выйти завтра на работу. Решайте.

— Нечего решать! Не сдаваться!

— Нашли кого слушать — подлизалу Полякова.

— Стоять до конца!

— Стоять!

— Черт с вами, стойте, а я сяду — устал.

Это сказал находившийся на проходе между скамейками пожилой рабочий с иссеченным морщинами лицом. Его шутливые слова приняли смехом, напряжение в зале сразу спало. Улыбался и Федор, глядя, как заботливо усаживают рабочего на переполненную скамейку, дружески толкают в бок, похлопывают по спине.

Приступили к выбору продовольственной комиссии, которая следила бы за работой лабаза. Старшим поставили Маркела Калинина. Маркела вызвали на сцену. Он поднялся, поклонился на четыре стороны, поблагодарил за доверие. Потом составили письмо к служащим фабрики. Пока занимались этим, Емельянов писал обращение «Ко всем гражданам города». Он же и зачитал его:

«Мы устроили забастовку с целью улучшения своего экономического и правового положения. Наша забастовка протекает вполне мирно. Мы распорядились закрыть винные лавки, сами наблюдаем за порядком.

Но враги наши распространяют нелепые слухи, будто мы желаем устроить погром. Цель наших врагов — унизить нас в глазах сограждан.

Эти слухи нас глубоко возмущают. Открыто заявляем: мы не только не будем участвовать в погромах, но всеми зависящими от нас средствами постараемся их предотвращать.

Всех хулиганов, выдающих себя за рабочих нашей фабрики, просим доставлять нашим депутатам».

— Принимаем? — спросил Федор.

— Голосуй! Принимаем! — послышались дружные голоса.

Успенский все еще сидел за столом и приглядывался со вниманием. Федор недружелюбно косился на него, ждал, когда почувствует неудобство и сам уйдет. Не тут-то было — так и пробыл до конца.

Емельянов подмигнул членам стачечного комитета, сказал весело:

— Быть батюшке изгнанным из прихода.

Сверкнули выцветшие с мутной поволокой глаза. Успенский спросил:

— За что сие, сын мой?

— За участие в работе стачечного комитета. Отвертесь не удастся, люди видели, подтвердят.

— Так я с умыслом здесь, с умыслом, — сказал Успенский.

Расходились — уже было темно. Сильный ветер гнал снежную крупку, сек лицо. Тяжелое небо висело низко, без звезд.

Федор расстался с Емельяновым на остановке трамвая — завтра он снова обещался быть в училище. Хотя и было поздно, Федор не пошел домой — решил побывать у Вари и заодно узнать о здоровье Мироныча.

Шагая к больнице, он вдруг почувствовал, что кто-то неотступно наблюдает за ним. Остановился и явственно услышал сзади шарканье ног. Федор решил подождать неизвестного преследователя, помедлил, покуривая. Тот остановился неподалеку и тоже будто закуривал. Несколько обеспокоенный, Федор быстро прошел до перекрестка и прижался к стене дома. Неизвестный пробежал, не заметив его. Закрутился на месте, повернулся назад, видимо, был страшно раздосадован. Теперь Федор без труда узнал в нем Ваську Работнова. Вышел, спросил недружелюбно:

— Чего по пятам ходишь?

Васька конфузливо смотрел в глаза и молчал.

— Кого спрашиваю? — прикрикнул Федор.

— Велели мне, — наконец выдавил парень. — Тебя охранять.

— Родион, что ли?

Васька утвердительно кивнул.

— Иди спать. Родиону завтра нахлобучку дам.

Васька выслушал и не изъявил никакого желания идти спать.

Федор надвинул ему на глаза шапку, легонько подтолкнул. Парень как будто смутился, направился в сторону каморок. Но когда Федор поднимался на крыльце дома, где жила Варя, и оглянулся, поодаль опять маячила фигура человека. Упрямства у Васьки хватало.

В тот раз на Духовской улице дело происходило так. Лицейсты шли с флагами навстречу карзинкинцам. Путь им перегородила толпа лавочников, мясников, приказчиков с Мытного рынка. Они несли иконы, портрет царя. Из толпы кричали: «Нам не надо свободы! Встанем грудью за батюшку царя». Лицейсты остановились. Стояли и черносотенцы.

В это время в коляске подъехал губернатор Рогович со свитой казаков. Рогович закричал на лицейстов, требуя убрать флаги. К нему подошел Мироныч и заявил, что они этого не сделают, манифест дает право на демонстрации.

Рогович позеленел от злости, рявкнул:

— Арестовать его.

— Вы не сделаете этого, — невозмутимо ответил ему Мироныч. — Личность теперь неприкосновенна.

А черносотенцы уже подошли вплотную. Из толпы выкрикнули: «Бей их!» — и завязалась потасовка. Мироныча сразу же свалили с ног.

Губернатор приказал казакам скакать навстречу карзинкинцам, двигавшимся по Власьевской улице, а сам повернул коляску и преспокойно уехал.

Обо всех этих подробностях Федор узнал от Машеньки.

Все дни она неотлучно находилась возле больного. В палате ей поставили койку.

Состояние Мироныча было тяжелым. На частые тревожные расспросы Машеньки доктор Воскресенский только хмурился, пожимая плечами. Он не верил в благополучный исход, но ей ничего не говорил. Зато Варе сказал, что если больной и выздоровеет, то на всю жизнь останется инвалидом. Помимо ушибов и переломов у него серьезное повреждение позвоночника.

Когда Варя привела Федора в палату и он увидел закованную в гипс фигуру Мироныча, осунувшееся с желтизной лицо, он содрогнулся; потрясенный, тут же вышел. С тех пор больше не заходил в палату.

Однако сегодня, когда он пришел к Варе, она сказала, что Мироныч стал чувствовать себя лучше и предложила навестить его.

Палата находилась на втором этаже в конце коридора и представляла собой узкое, вытянутое в длину помещение, чем-то напоминающее каморку в рабочих казармах. Единственное окно, выходящее в больничный парк, не давало достаточного света.

Койка Мироныча была придвинута ближе к окну. Когда Федор вошел и сел возле на табурете, Мироныч слабо улыбнулся. Отросшая за время болезни бородка курчавилась, придавала лицу незнакомое выражение. Мертвенно-бледная, почти прозрачная кожа обтягивала высокий лоб со шрамом наискосок, заострившийся нос.

Миронычу трудно было говорить, и Федор, заранее предупрежденный Машенькой, ни о чем не спрашивал, рассказывал, что делается в слободке, как проходят ежедневные митинги в училище. Каждый раз, когда он упоминал кого-то из общих знакомых, печальный, с глубокой болью взгляд больного становился напряженным.

Варя, которая в последние дни уставала от ходьбы, сидела на Машенькиной койке, сложив руки на большом животе, и тоже прислушивалась. Машенька, наклонившись над тумбочкой, звякала склянками — приготавливала лекарство. Казалась она еще более худенькой, чем прежде, и можно было только удивляться, откуда в ней столько сил. Любой другой человек едва ли бы выдержал то, что свалилось на ее плечи. Ей же — и постоянная тревога за жизнь любимого человека, и бессонные ночи — словно все было нипочем.

Упоминание об Емельянове, о его выступлении в фабричном училище не произвело на Машеньку никакого впечатления. Но когда Федор сказал, что вместо Роговича приехал новый губернатор, она насторожилась: уж не получил ли Рогович отставку за бесчинства, творимые черной сотней?

— Не понимаю, зачем упорствовать, — раздраженно сказала Варя в ответ на рассказ Федора о том, что рабочие решили продолжать забастовку. — Никогда такого не будет, чтобы мас-

теровых допустили управлять фабрикой. Надо же понять это!.. Если даже вооружится весь город, все равно ничего не достигли бы. Потому что у правительства есть войска. Пришлют солдат, и опять начнутся убийства. Жертвы, жертвы из года в год — все это становится страшным. Но главное, бесполезно... Сколько на моей памяти арестовано людей, у скольких загублена жизнь. А чего добились? То же, что и было...

— Ты просто не у места завела этот разговор, — как можно мягче попытался Федор остановить ее. — И вообще нельзя тебе...

— Конечно, нельзя! Ничего нельзя!.. Каждый день ждешь худшего. Надоело!

Федор пристально смотрел на нее, жалел. Сам он старался не думать, что ожидает его впереди. Варя же строила самые мрачные предположения. «Я хочу, чтобы ты был всегда рядом. Как все женщины, я хочу иметь свою семью». — «У меня одно желание, чтобы ты была счастлива». — «Да, но ты ведешь себя так, что когда все это кончится, тебя снова отправят в тюрьму». — «Я не знаю, чем все это кончится, и не знаю, как вести себя по-другому».

Такой разговор был у них несколько дней назад. В другое время Федор мог бы наговорить ей резкостей: в конце концов, она знала, на что идет, с кем связала свою судьбу. А тут сдержался — подумал, что близкие роды волнуют и пугают ее, Варя с каждым днем становится раздражительней, поэтому надо щадить ее состояние.

Машенька подсела к Варе на кровать, обняла за плечи.

— Не надо волноваться, распускать себя, — ласково сказала ей, заглядывая в глаза. — Все будет хорошо.

На лице Вары с коричневыми пятнами и вздернутым носом были упрямство и злость. Но, видимо, поняла, что в самом деле жестоко говорить об этом у постели больного, и только глубоко вздохнула.

Федор поднялся, чтобы предложить ей пойти домой. Прощаясь, подбадривающе кивнул Миронычу. Бескровные губы у того дрогнули — натужно силился что-то произнести. Федор поспешил остановил его.

— Молчи. После...

— Лицеисты живу-у-чие, — едва слышно донеслось до него. — Встану...

«Всепокорнейше осмеливаюсь Вас беспокоить, господин директор. Я тот, которого Вы стараетесь не замечать и обходите своими милостями. Но я преданнейший власти и фабрике человек и на этой почве не раз подвергался нападкам со стороны рабочих. Вы знали об этом и оставляли мои обиды без последствий. А я все-таки надеюсь заслужить Ваше милостивое внимание, а посему очень искренне буду сообщать Вам о всем, что делается в слободке, дабы, зная положение, Вы могли своеевременно принимать меры.

Что я вижу на нашей славной Большой мануфактуре? Недавно пришлось мне проходить по двору — ни дыма, ни пара не видно, лишь темные силуэты фабричных труб. Посередине двора кучка людей играет в шары. Оказывается, это мастера и конторщики. Теперь они не работают, а отдохивают, весело пинают шары и бегом катают друг друга на плечах.

Отчего такое видим мы?

Как-то наткнулся я на старых рабочих. Слово за слово, разговорились. На мой прямой вопрос, почему не принимается за работу, один из них с серьезным и немного угрюмым выражением лица ответил: «Да вот, слыши, на петицию еще ответа нет, неизвестно, согласится ли хозяин на наши требования». — «А какие, — спрашиваю, — требования?» — «Где тут, нешто упомнишь. Они ведь длиной-то будут с «Верую». — «Тогда зачем подписывал, коли не знаешь какие?» — «Хорошо тебе на просторе-то так рассуждать. У нас вожаки: «Пиши, — говорят, — и шабаш».

Когда я сказал, что большинство пунктов петиции не может быть уважено по своей несуразности, рабочий тот произнес: «Не моя ли правда, братцы. Говорил я — что-нибудь да в нашей петиции не чисто. Коль все было бы просто, так хозяин не стал бы тянуть».

Вот и смекайте, господин директор, зачем я это пишу. Если и впредь судьбами людей будут распоряжаться депутаты и делегаты — носители социал-демократических идей, то толку ожидать трудно. Не знаю, что тогда и станет.

Мое предложение будет такое: если предоставить всей громаде рабочих решить вопрос путем тайной подачи голосов, то вопрос разрешится, все встанут на работу. Сделать это совсем не хитро. Администрация предложит рабочим встать к машинам

и потом проголосовать врозь по каждому отделу. Попробуйте это старинное средство — решить миром.

Следующее письмо найдете на столе у конторщика Лихачева с надписью Вам лично.

Обиженный Вашим невниманием доброжелатель».

• • • • • • • • • • • • • • •

— И, батенька мой, что тебе не жить, коли такие письма подсылают. Думать не надо: принимай к сведению да исполняй аккуратно, — говорил товарищ городского головы Чистяков — тесть Грязнова, с аппетитом управляясь с цыпленком и пропуская рюмку за рюмкой. — Экий у тебя доброжелатель разумный: старинное средство предлагает использовать... Вот и пробуй. Авось, будет толк... Теперь налей-ка еще рюмашечку да мне и к дому пора, старуха, поди, третий сны досматривает. И Лизу, смотрю, зевота одолевает, перемогает себя.

В большом и гулком доме директора фабрики стояла могильная тишина. Прислугу отпустили, чтобы не прислушивалась, не запоминала того, что ей не следует запоминать, — Лиза, жена Грязнова, подавала сама.

Грязнов взял графин, чтобы налить тестю водки. Лиза поспешно перехватила его руку, сказала отцу с укором:

— Нельзя тебе, папа.

— Откуда ты знаешь, что можно и что нельзя, — сварливо возразил старик. Был он худощав, но крепок, — седобородый, маленькие глаза смотрели живо и задорно. — Коли принимает душа, значит, можно. Наливай, наливай, зятек. Жену свою надо держать в строгости. Слушать-то слушай, да не всегда. Ее дело мужа любить и детей ему рожать. — Отодвинул локтем письмо, хмыкнул удовлетворенно: — Нет, не все, оказывается, охвачены смутой, не перевелись порядочные люди. А ты, поди, и знать не знаешь, кто это? Чем обидел-то его?

— Догадываюсь, — неохотно ответил Грязнов. — Уволен был за некоторые грехи по требованию работниц.

— Э, батенька мой, — удивился Чистяков, — да кто этим в молодости не грешил! — Но заметив, что Лиза возмущенно сверкнула глазами, поперхнулся, пробормотал: — Да, конечно, вся жизнь — грех.

Тесть приехал неожиданно, прямо с заседания городской думы. И то, что он рассказал, привело Грязнова в бешенство, надолго вывело из равновесия. Господа гласные, обеспокоенные длительной забастовкой, искали, как примирить рабочих с владельцем фабрики. Многочасовые дебаты ни к чему не привели. Тогда для предотвращения неминуемого голода семей рабочих и возможных эпидемий в это время либерально настроенные члены думы поставили вопрос о денежной помощи. При голосовании их предложение прошло большинством в два голоса. Фонд стачечного комитета неожиданно пополнился шестью тысячами рублей. Ко всему, дума обратилась с возвнанием к горожанам, в котором предлагалось начать сбор пожертвований.

Удар был нанесен оттуда, откуда Грязнов меньше всего ожидал. Если Карзинкин узнает об этом, он придет в ужас.

— Вот, батюшка мой, какие дела, — докладывал тесть Грязнову. — Уж поверь, громил их как мог, доказывал, что глупо брать на довольствие двадцать тысяч человек, — на пять дней им этих денег, а дальше что? Снова давать? И зачем давать? Пусть идут работать. Что ты, пробьешь разве!.. Но, видно, услышал-таки господь-бог мои крики: новый наш губернатор Римский-Корсаков в ярости от думских чудачеств. Не позволит-с, нет!..

За ужином он долго еще шумел, возмущался. Грязнов катал по столу хлебные шарики, прикидывал, какие неожиданности может принести решение думы. Теперь в руках забастовщиков сильный козырь. В своих требованиях станут еще упрямее. Разве что губернатор и вправду запретит думе оказывать рабочим денежную помощь.

— А почему бы не арестовать вам этих самых главарей да в кутузку, под надежный замок? — предложил зятю Чистяков. — Обвинения, что ли, не найдете?

— Не так все это просто, как кажется, — сумрачно ответил Грязнов. — Арестовать легко, но что может быть после... Фабрика без охраны. К тому же, сами говорите, в городе им сочувствуют.

— Экий ты, батенька, дурак, извини меня, — добродушно заметил Чистяков. — Разве я сказал, что их надо арестовывать как забастовщиков? Могут они украсть что-нибудь, в драке побывать...

Грязнов посмотрел на тестя странным взглядом.

— Нет, нет, — сказал, — это невозможно.

О том, что губернатор запретил городской думе выдать пособие голодающим семьям, рабочие узнали от Емельянова, который теперь частенько бывал в фабричном училище. Как и в обычные дни, зал был полон. Было много женщин с детьми на руках — выставляли напоказ, надеялись разжалобить каменные сердца мужчин, заставить их прекратить забастовку. Бастовали бы летом, куда ни шло, — зелень, грибы, ягоды, — перебиться всегда можно. Зимой, с ее морозами и метелями, голод чувствовался острее.

Детишки плакали, женщины нарочито громко успокаивали их, мужья стеснительно оглядывались, переминались с ноги на ногу и молчали — будто и в самом деле окаменели сердца. И только когда совсем уж становилось невмоготу, закручивали цигарки, курили украдкой в рукав, покряхтывали. В сыром помещении прогорклый табачный дым щипал глаза, вызывал кашель.

Сообщение Емельянова взорвало зал. Долго накапливалась злость — на Карзинкина, который уперся на своем и выжидает; на себя, что предъявили непомерные требования и теперь уже нельзя пойти на попятную, выказывать слабость. Злость требовала выхода и случай представился:

- Не имел права запрещать!
- Чай, у самого дети есть, понимать должен!
- Душегуб!
- Мы заявим ему!..
- Пойдем к губернатору!
- Все пойдем!
- К губернатору!

Когда накричались вдоволь, вышел на трибуну пожилой представительный железнодорожник, расправил серповидные усы и сказал, что рабочие железнодорожных мастерских велели ему выразить восхищение стойкостью карзинкинцев, — только так и нужно бороться за свои права. От себя он добавляет, что железнодорожники тоже пойдут в город, — и им есть, что предъявить губернатору.

Не мешкая, стали выходить из училища. Емельянов озабоченно отвел Федора в сторону, сказал, что отправляется в железнодорожные мастерские — надо успеть собрать там рабочих.

С железнодорожниками решено было встретиться у Градусова, на московском большаке.

Собирались не как в прошлый раз, когда ходили в город на митинг, — поторапливали друг друга. Родион Журавлев едва успел предупредить дружинников. Сперва договорились, что все, у кого есть оружие, должны быть в рядах демонстрантов, поэтому сняли даже тех, кто был приставлен охранять фабрику. Но в последнюю минуту перерешили, послушались Алексея Подосенова.

— Как же без никого и слободку и фабрику оставлять? — доказывал он. — Черт-те что может произойти, всего заранее не угадаешь.

Кликнули Егора Дерина. Федор наказал:

— Отбери побойчее ребят — пяток-другой, — и смотрите. Особенно приглядывайте за лабазом. У казенок чтобы тоже человек всегда был.

Как ни хотелось Егору идти вместе со всеми в город, пришлось подчиниться. Созвал своих дружков Артема и Ваську Работнова, объяснил задачу. Те пошли к лабазу, а Егор в каморки за Лелькой Соловьевой — с Лелькой по улицам разгуливать милое дело.

Путь не близкий, и мужья уговаривали жен оставаться дома, не мерзнуть на холода, однако мало кто слушался. Колонна получалась внушительная.

Она прибавилась еще на несколько десятков человек, когда вышли на Большую Федоровскую улицу и остановились у свинцово-белильного завода Вахрамеева, — вахрамеевцы бросили работу, встали в ряды.

Длинная и широкая Большая Федоровская, но и она сейчас казалась тесной. Чтобы не растягиваться на добрую версту, старались идти широкой лавиной от тротуара до тротуара.

У Градусова передние замешкались, оглядывались в сторону Московского вокзала — хорошо проглядываемая прямая Выемка была пуста.

Со стороны дамбы от реки стегал злой ветер. Люди запахивали поплотнее пальто, прятали в карманы закоченевшие пальцы.

— Может, и ждать их нечего — не пойдут?

— Конечно, надо идти. Соберутся, так догонят.

Василий Дерин тронул Федора за рукав, кивнул в сторону вокзала:

— И в самом деле. Договоренности твердой у нас нет. Простоим зря, людей заморозим.

Федор медлил. Чтобы ожидание было менее томительным, велел Родиону Журавлеву строить дружинников впереди колонны. Красные повязки на рукавах отличали их от остальных рабочих.

Почувствовав на себе пристальный взгляд, Федор обернулся. Сзади стояла Марфуша Оладейникова. Короткая бархатная жакетка, видно, грела плохо, Марфуша зябко поеживалась. В синих глазах грусть и что-то глубоко запрятанное, невысказанное.

— Ну что? — ласково обратился к ней Федор. Хотелось сказать: «Зачем ты напрасно себя терзаешь? Что, на мне свет клином сошелся?»

— Так, — застенчиво ответила Марфуша, краснея оттого, что он понял ее мысли. «Сама знаю, что все попусту, и ничего не могу с собой поделать».

— Идут! Идут! — раздалось сразу несколько голосов.

Из-под железнодорожной арки к Выемке густо шли люди. Над головами бился на ветру флаг.

У фабричных лица повеселели. Откуда вдруг взялись шутки:

— Ишь торопятся, как на свадьбу, — говорил пожилой рабочий в затертом полуушубке.

— А что, губернатор-то будто вдовец. Оженим его... вон хотя бы на Марьи Паутовой. Рябовата, кривовата, полтора зуба во рту и те шатаются, а в остальном всем взяла.

— На себя поглядел бы, старый леший, — огрызнулась Марья, отвернулась, стала поправлять выбившиеся из-под платка волосы.

— Ворчит, а ведь согласна, ей-богу, мужики, согласна. Глянь, прихорашивается.

— Как же, губернатор растрепу и не возьмет.

— Умолкните, идолы!

— Ха-ха-ха! Не терпит. Ни дать, ни взять — губернаторша.

— Семку-то свою куда денешь, Марья? Все-таки живой муж.

— Он им постель стелить будет. За прислугу, значит.

Подошли железнодорожники, здоровались с фабричными, как со старыми знакомыми. Федор смотрел Емельянова и не видел. Спросил усатого рабочего, который выступал утром в училище:

— Куда нашего агитатора задевали?

— Разве задевали? — ухмыльнулся тот. — Он в Москву торопился. А у нас паровоз до Александрова идет, прихватили.

— Вон как! Не говорил об этом.

«Уж если на самом деле торопился, мог бы и сказать», — не очень лестно подумал Федор об Емельянове.

— Что нам, своей колонной вставать или кто где? — спросили его.

— Рассыпайтесь по рядам, так-то для знакомства лучше.

Передние с поднятыми флагами прошли железный мост через Которосль, стали подниматься к торговым рядам. Хвост колонны еще тянулся по дамбе.

Торговцы засуетились — хлопали двери лавок, вешались пудовые замки. Сами скрывались во дворах, с испугом ждали приближения демонстрантов.

Давно шел слух, что рабочие собираются грабить богатые дома и лавки. Появились! Теперь жди вселенского разбоя.

Торговцы крестились. «Господи, пронеси!»

Проносило. Не задерживаясь, передние ряды прошли одну лавку, другую. Как будто не выказывают намерения к грабежу, как будто обойдется. Тогда люднее стало на улице, провожали взглядом колонну — ни шума, ни толкотни, — говорили:

— С красными-то повязками, видать, самые главные у них.

— Дружинники это. В каждом кармане по револьверу, а то и бомба.

— Чего хотят-то?

— К губернатору идут.

Когда проходили мимо студенческой столовой, оттуда посыпались группами лицеисты. Застегивали на ходу тужурки, пристраивались к демонстрантам.

— Товарищи, и мы с вами!

Идти молчаливо, в ногу, как шли до этого, лицеисты не могли. То один, то другой выбегал из строя и выкрикивал:

— Мы потребуем от губернатора освобождения политических заключенных!

— Нам не надо урезанных прав! Мы хотим полной свободы!

Один из них в меховой шапке, сползающей на глаза, длин-

ноногий, взмахнул руками, как дирижер, и первый затянул простуженным голосом:

Всероссийский император, царь нагаек и штыков,
Для рабочих провокатор, созиодатель кандалов...

Лицейсты подхватили:

Всероссийский кровопийца, царь купцов и царь дворян,
Для рабочих царь — убийца, царь — убийца для крестьян.

Рабочие улыбались — с такими парнями не заскучаешь. Как-то незаметно для себя строже стали чеканить шаг. Жаль, ни разу не слышали эту песню, а то и подпели бы.

А молодые глотки надрывались:

Люд, восставший за свободу, сокрушит твой подлый трон,
Долю лучшую народу завоюет битвой он.

Колонна с песнями свернула к Ильинской площади. На углу ее остановились. Лицейсты предложили послать делегатов в здание окружного суда — пусть чиновники оставят работы и присоединятся к демонстрации. Двери суда оказались запертыми. Но делегаты нашлись: начали кричать в окно. Чиновники совещались, потом человек десять вышли.

В это время в воротах Митного рынка показалась толпа мясников и приказчиков — лица упитанные, тугие затылки. Остановились, наблюдая за демонстрантами. Перед ними бесновался юркий человек с волосами цвета грязной соломы, выбившимися из-под черной затасканной шляпы, — поп, что ли. Перебегал от одного к другому, хватал за рукава. Выл со стоном, глотая второпях слова:

— Замышляют наши недруги, враги хитрые и коварные, погубить святую Русь, расшатать устои вековечные, веру православную и власть царя державную, проповедуют учредить республику — самовольщину. И не год, и не два разрастается та крамола подпольная, и как змей обвила она землю русскую, над крестом святым насмехаючись, самому царю угрожаючи. Помоги же ты, святой Георгий победоносный, защити щитом твоим божественным царя нашего.

Побежал вдруг к демонстрантам, машет руками, брызжет слюной:

— Супостаты, греховодники! Брысь! Брысь!
Разбередил мясников, угрожающе зашевелились.

Длинноногий лицеист выкрикнул:

— Товарищи! Спокойствие! У нас есть оружие! Мы защищим!..

По рядам демонстрантов пронеслось: «На провокацию не отвечать, в драку не ввязываться».

Но как не отвечать, стерпит ли кто, если к тебе подходят с явным намерением намылить шею. Василий Дерин, сбычив голову, вышел из рядов, вытянулся к сизому носу бесноватого попа кулачище.

— Видишь?

Тот завертелся, шмыгнул за спины мясников. Оттуда фыркал на Василия, как потревоженный кот:

— Изыди, сатана! Изыди!

Лицеисты и фабричные, из тех, кто поздоровее, встали рядом с Дериным. Остальные пошли.

Когда последние ряды благополучно миновали толпу мясников, охрана замкнула колонну. Мясники злобно поглядывали, но с места не сдвинулись.

От тротуара к демонстрантам прытко подбежал крючконосый человек, затесался в середину рядов. Шагая, заискивающе оглядывал лица рабочих. На него посматривали со снисходительным любопытством.

— Выслушайте меня, — торопливо заговорил он, видимо, побаиваясь, как бы его не вышвырнули из строя. — Я вам скажу, почему сюда. Я Визбор. Иван Визбор.

— Крой, — добродушно сказали ему. — Выкладывай, что за птица.

— Я из Либавы...

— Эге, далеко залетел.

— Я прошу слушать серьезно, — с отчаянием сказал человек, назвавшийся Иваном Визбором. — Я хочу сказать, почему сюда.

— Ладно, будем слушать. Винись.

— У меня нет вины, как вы не понимаете. Ах, как вы не понимаете... Я из Либавы. В октябре был прислан ко мне служащий и велел прийти на станцию. Там начальник станции читал манифест, а потом сказал, чтобы все служащие приступили к работе. Все кричали «ура!». Когда начали расходиться, вдруг крикнули, что надо избрать своей среды делегатов. И поэтому служащие принялись избирать делегатов своей среды. Составители хотели, чтобы меня избрать, но так что я отказал-

ся — мне не хотелось быть делегатом и вообще нужным не находил делегатов, — тогда служащие выбрали другого составителя Лихневича. Прошло не помню сколько время — недели две или три, — так что ему помешали обстоятельства, и мне сказали, чтобы я остался на его месте. И поэтому я был назван делегатом, и я был таким делегатом. Потом мы избрали своей среды двух делегатов в союз железнодорожников. Когда избрали их, я отказался категорически, что больше делегатом не буду, потому что я не нахожу нужным. Хотя я и был делегатом, но моим товарищам было прискорбно. Почему? Потому, что нигде не входил в дела их. Потом меня арестовали и выслали сюда под надзор. Если бы я знал, что будут арестовывать и высыпать, то я поехал бы в Митаву к генерал-губернатору. А сейчас я должен изложить свою невинность вашему губернатору....

Колонна повернула на Воскресенскую улицу. По рядам друг другу передавали, что пошли к служащим почтово-телеграфной конторы — снимать с работы: «Больше народу — лучше слушать будет».

— Хо, наш губернатор! — подшучивали между тем рабочие над Визбором из Либавы. — Он не просто наш, он нам, почитай, брат родной: под одним солнцем портнянки сушим.

— Вы снова «ха-ха», — огорченно говорил Визбор, пряча в воротник пальто покрасневший на холоде крючковатый нос. — А я честно рассказал, почему сюда.

— Ладно, оставьте его, пусть идет. Тоже человек...

— Тише, помолчите! Что это?

Остановились, настороживаясь. Со стороны переулка, из-за домов донеслось удалое гиканье, свист, нарастающий стук копыт.

— Казаки! — пронеслось по рядам.

— Не бойтесь, ребята, не посмеют...

— И не задумаются. Такой народ...

— О дьяволы, не ко времени!

Середина колонны, что находилась как раз напротив переулка, дрогнула, люди попятились к домам, искали, где укрыться. Василий Дерин махнул своим, показывая, чтобы не отставали, бросился туда. Лицейсты побежали вместе с ним.

Первые ряды уже ушли далеко вперед и основная часть дружиинников не сразу поняла, что произошло, почему сзади них началась паника. А когда увидели вынырнувших из пере-

улка казаков, было уже поздно. Казаки на всем скаку врезались в толпу. Засвистели нагайки, полосуя беззащитных людей, послышались ругань, крики. Обозленные рабочие, отступая, били лошадей по мордам, старались дотянуться до седоков. Истощно голосили женщины, метались из стороны в сторону, усиливая суматоху.

Первыми прибежали к месту побоища лицеисты и те немногие фабричные, имеющие оружие, которые были вместе с Василием Дериным в хвосте колонны. Их беспорядочные выстрелы охладили казаков. Не ожидавшие отпора, они растерялись, стали поворачивать назад. В это время подоспели остальные дружины.

— Держитесь ближе к домам, — командовал Родион Журавлев. Его рябое лицо было бледно, судорожно сжимал тонкие губы и морщился, как от зубной боли. — Будем держаться, пока все не укроются...

Дружины встали цепью, прикрывая разбегающихся демонстрантов. Люди рвались во дворы, лезли через заборы. А казаки, отъехав на сотню шагов, торопливо спешились. Ружейный залп расколол морозный воздух. Потом еще один, и еще...

Падали убитые, стонали раненые. Федору ожгло правую руку выше локтя. Стоявший рядом с ним Василий Деринничком ткнулся в снег. Федор припал к нему, повернул лицом к себе. Пуля попала Василию в голову. Превозмогая боль в руке, Федор обхватил его, перенес за угол дома. Здесь из-за прикрытия отстреливались лицеисты. Длинноногий в меховой шапке, положив револьвер на согнутую руку, стрелял не торопясь, каждый раз выбирая цель. Один из лицеистов, очевидно, раненый, сидел на корточках у стены и раскачивался, слезы текли по его безусому мальчишескому лицу.

Вдруг Федор увидел Марфушу. Неловко пригнувшись, она бежала по открытому месту к Родиону Журавлеву. Тот лежал на снегу, подвернув ногу, распластав руки. Оставив Василия, Федор рванулся к ней, чтобы оттащить, укрыть, и не успел. Она споткнулась, схватилась за грудь. Застывший взгляд остановился на нем. Федор поддержал ее, поднял на руки, чувствовал, как она тяжелеет.

Подоспел длинноногий лицеист, оттолкнул Федора к углу дома, крикнув сипло:

— Убьют!..

Марфушу положили рядом с Василием Дериным. Сидевший на корточках у стены молоденький студент заплакал горько, по-детски, размазывая кулаком слезы. Длинноногий лицеист поднял его за ошорок, встряхнул, и тот сразу затих.

Федора шатало. Растерянно смотрел, как опускаются редкие снежинки на лицо Марфуши... и не тают.

— Держи!

Это опять лицеист-непоседа, стоял рядом и протягивал горсть патронов. Федор не сразу понял, зачем ему суют патроны.

— Есть у меня, хватит, — отказался он.— Сжимая левой рукой револьвер, стал стрелять.

Когда улица опустела, последние демонстранты укрылись от пуль, дружинники, забрав убитых и раненых, начали отходить. Казаки в это время сели на коней и ускакали.

Обратно рабочие возвращались лавинами. Сурово приглядывались к встречным обывателям, искали ссоры. Их пугливо обходили стороной. В торговых рядах наткнулись на городового — отняли револьвер, шапку и жестоко избили. Здесь же остановили трамвай. Пассажиров вытолкали, погрузили раненых и убитых. Вагон пошел тихим ходом при угрюмом молчании идущей следом толпы.

6

Всю ночь люди не уходили из фабричного училища. В зале для митингов сдвинули скамейки и на освободившемся месте, в середине, плотники сколотили помост. На него поставили гробы, обитые красной матерней. Каждые пятнадцать минут сменялся почетный караул.

Сюда от кладбищенской церкви доносился размеренный колокольный звон. Звонарям Степану Забелину и Федотке Кострову было приказано не прерывать его ни на минуту.

Людно было в эту ночь и на улицах. В сухом звонком воздухе раздавались тяжелые шаги патрульных. Большие группы дружинников, вооруженных револьверами и охотничими ружьями, дежурили на выходе к Большой Федоровской улице и у плотины. К утру ждали появления казаков и полиции.

На одну такую группу возле хлопкового склада наткнулся директор фабрики Грязнов. Он шел из больницы, куда только что отправил жену: у нее начались предродовые схватки. Было около восьми утра. Начинало светать.

При виде вооруженных людей Грязнов почувствовал тошнотный страх. Его окликнули:

— Стой! Кто идет?

Пересилив противную дрожь во всем теле, он подошел. В рослом человеке с ружьем на плече, опущенном дулом вниз, он признал крючника Афанасия Кропина. Тот тоже узнал директора и несколько растерялся.

— Поостереглись бы ходить в темноте, — сказал Кропин, поворачиваясь так, чтобы Грязнов не видел ружья. — Может случиться оплошка, и тогда...

— Что тогда? — перебил Грязнов. Он уже осмелел — рабочие хоть и злы, но его узнали и не тронут. — Почему вы болтаетесь у складских помещений?

— Охрана, — коротко пояснил Кропин.

— Охрана назначается администрацией фабрики. Ей и надлежит находиться на территории склада. В добровольных помощниках нет никакой нужды.

— Это еще как сказать, — многозначительно возразил Кропин.

Грязнов считал, что за тринадцать лет, которые он здесь, он достаточно хорошо изучил фабричных. В каждом из них сидит раб, у одного в большей, у другого в меньшей степени. И как бы ни противилось человеческое достоинство, раб всегда побеждал, заставлял повиноваться. Усвоив это, Грязнов легко стал предупреждать самые неожиданные бунты. Однако за дни забастовки он начал убеждаться, что его представление о рабочем человеке по меньшей мере не полное. Фабричный мастеровой сумел победить в себе раба, и теперь угрозы и запугивания перестали на него действовать.

Как директора фабрики, Грязнова бесили действия стачечного комитета, но когда он старался представить себя объективно мыслящим человеком, ни в чем не заинтересованным, эти действия удивляли его смелостью и продуманностью. Допустим, забастовкой руководят социал-демократы, те же лицеисты — люди грамотные и умные, — но они только подсказывают какие-то мысли, всю непосредственную работу ведут сами рабочие, и ведут с завидным умением. Больше всего поражало Грязнова

то, что забастовщики сумели обуздить слободку, чего никогда не удавалось сделать полиции, — все полтора месяца не слышно ни драк, ни безобразных семейных скандалов.

Вот и сейчас, встретив рабочую охрану на хлопковом складе, он прежде всего возмущался: стачечный комитет старается вмешиваться в дела, которые его совершенно не касаются. Но остынув, он поразмыслил и пришел к выводу, что рабочие и тут учли все до мелочей. Случись пожар в иное время, ответственность несли бы лица, работающие на складе. Произойди он сейчас, вина пала бы на забастовщиков. Ну кто отказался бы от такой доступной и правдоподобной мысли: пожар учинен забастовщиками из ненависти к владельцу фабрики? Потому и решили они поставить свою охрану.

Постукивая тростью о ступеньки лестницы, Грязнов поднимался в контору.

Раньше в это время контора уже гудела голосами. Перед дверью по всей лестнице терпеливо стояли рабочие или те, кто хотел поступить на фабрику. За столами конторщики щелкали костяшками счетов, скрипели перьями. Дух деловитости большого сложного предприятия нравился Грязнову. Он распоряжался, вел переписку с заказчиками, принимал посетителей. День пролетал незаметно. Вечером чувствовал приятную усталость и глубокое удовлетворение собой.

Сегодня в конторе не только посетителей — служащих почему-то не было. И только перед кабинетом склонился над столом — искал что-то в папках — старший конторщик Лихачев. И еще рядом с ним сидел фабричный механик Чмутин. При виде Грязнова он поднялся.

— Ко мне? — справился Грязнов, проходя в кабинет и оставляя дверь открытой.

— Да. — Чмутин остановился у порога, не решаясь пройти. Ясные, как у младенца глаза, отводил в сторону.

— Пожалуйста, — добродушно сказал Грязнов, приглашая к разговору.

Чмутин в волнении шаркнул ногой, застенчиво улыбнулся.

— Алексей Флегонович, это неприятно, я понимаю... но я вынужден сообщить о забастовке, которую объявили служащие. — Заторопился, словно ожидал, что директор не захочет выслушать, договорил: — Забастовка протеста... Служащие возмущены действием губернских властей. Они заявляют о своей солидарности с рабочими. Отказываются также производить

расчет — считают эту меру по отношению к рабочим жестокой. Я уполномочен заявить вам обо всем этом.

Грязнов смотрел на фабричного механика и недоумевал. Оказывается, он не знает и этого человека. Чмутин был известен ему как хороший специалист и только. В остальном он не вызывал интереса. С подчиненными он робел и терялся, когда надо было применить власть. За глаза мастера посмеивались над ним. И вот он теперь «уполномочен заявить»...

Наливаясь гневом, Грязнов шумно встал, шагнул к механику. Гладкое, румяное лицо Чмутина побелело, губы дрогнули, но он нашел в себе сил выдержать жесткий взгляд директора.

— Вы понимаете, что вы сказали?.. — Грязнов задохнулся, дернул шеей. — Понимаете, чем это грозит вам?..

— Алексей Флегонович, — дрогнувшим голосом сказал Чмутин, — я передаю мнение большинства. И прошу... прошу вас, не кричите на меня!

— Хорошо. — Грязнов опять сел в кресло, стараясь успокоиться и не мог, болезненно кривил рот. — Ваш протест ничего не изменит. Убитых не воскресишь... Конторщики не хотят делать расчет рабочим — это тоже не угроза. Найдем других. Пятьдесят процентов премиальных — и желающих будет хоть отбавляй. Ничего вы не добьетесь. Понимаете? Ничего!

— Служащие не могут поступить иначе, — упрямко сказал Чмутин.

После этого он спешно откланялся и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, выходившая на лестницу, Грязнов тоже встал. Лихачев все еще копошился в своих бумагах — делал вид, что крайне занят.

— А вы, Павел Константинович, разве не присоединяетесь к забастовке? — язвительно спросил директор — надо было на ком-то выместить раздражение.

Лихачев моргал белесыми ресницами, обдумывал, как ответить. Молчание затягивалось.

— Не мучайтесь, — насмешливо остановил Грязнов. — Вижу вашу преданность... Мы с вами «забастуем», когда фабрика опять станет работать полным ходом. Карзинкин оценит нашу стойкость и не обойдет милостями. Вот тогда и погуляем. Кстати, составьте ему отчет о вчерашнем дне. Телеграмму я послал, но не лишне сообщить о подробностях. О забастовке служащих пока умолчим — они еще одумаются. Сегодня же найдите способ объяснить им: кто готов производить расчет

рабочим — получит пятьдесят процентов премиальных. Привлеките к работе в конторе табельщика Егорычева, он того заслуживает... И еще, к полудню закажите венок с лентой. Надпись придумайте, но чтобы видно было — венок от администрации фабрики.

Пока Лихачев записывал на листке бумаги все, что надо сделать, Грязнов разглядывал его, с иронией думал, что старший конторщик, пожалуй, единственный человек, который не выкинет ничего неожиданного.

В кабинете резко зазвонил телефон. Грязнов досадливо поморщился, пошел слушать. Звонил из больницы доктор Воскресенский.

— Алексей Флегонтович, — глухо рокотал он в трубку. — Поздравляю вас с сыном. Здоров, голосист... И заодно с племянницей. Варвара Флегонтовна благополучно разрешилась дочкой.

Грязнов устало и счастливо улыбнулся.

С утра из города стали прибывать делегации. Обнажали головы, со скорбными лицами подходили к помосту, ставили венки. Федор Крутов и Алексей Подосенов, с запавшими от бессонницы глазами, встречали прибывших. Правая рука Федора висела на черной повязке. Вслед за большой делегацией железнодорожников прибыли студенты Демидовского юридического лицея. На их венках были надписи: «От социал-демократической рабочей партии», «Павшим борцам за свободу», «Жертвам самодержавия».

Среди лицеистов было много тех, кто участвовал в перестрелке с казаками. Они здоровались с рабочими, как со старыми знакомыми. В молчании вставали в почетный караул.

Венки закрыли помост со всех сторон. А их все подносили — от трамвайщиков, от служащих почтово-телеграфной конторы, от рабочих свинцово-белильного завода.

К двенадцати часам в зале негде было повернуться. Лишь узкий проход к помосту оставался открытым.

Фабричные были немало удивлены, когда в дверях училища показался мастеровой — заросшее худощавое лицо, черные беспокойные глаза. Он снял шапку, медленно двинулся к помосту.

Алексей Подосенов указал Федору:

— Евлампий объявился.

Евлампий Колесников встал в почетный караул. На него поглядывали, перешептывались. С тех пор, как его арестовали, о нем ничего не было слышно.

Евлампий узнавал знакомых, едва заметно, чтобы не нарушать приличия, кивал. Когда передал ружье другому рабочему, подошел к Федору и Подосенову.

— Думал, посидим со встречей, порадуемся, — грустно сказал он, пожимая им руки. — А попал на поминки... И Марфушка, оказывается... Ее-то как не уберегли?

Ему не ответили. В зале произошло движение — смотрели, как подходит к помосту Лихачев. Он нес венок с надписью: «Погибшим рабочим от скорбящей Большой мануфактуры».

Фабричные сопровождали его негромкими возгласами:

— Расщедрились.

— Для мертвого рубля не пожалеют.

— Завернуть его назад.

Темнея лицом, Федор встал на пути конторщика. Он на самом деле хотел повернуть его.

— Не вызывай гнев — богомольные не простят, — шепнул Евлампий. — Поклоняться гробу доступно и друзьям и врагам.

Лихачев между тем остановился, не зная, как поступить. Пожилые рабочие и особенно женщины, видя, что ему мешают положить венок, недовольно зароптали. Евлампий подтолкнул Лихачева к помосту, кивнул. Тот с облегчением поставил венок, расправил ленту.

— Чего о себе не сообщал? Бедовал-то где? — спросил Федор Колесникова.

— Долгая история, — неохотно отозвался Евлампий. — Два года пробыл в Бутырках. Сюда не поехал — едва ли приняли бы на фабрику. А там приятель оказался, позвал с собой в Орехово-Зуево. Работал, пока не уволили. Сейчас из Москвы... Повидал, как рабочие на баррикадах боятся.

— С Марьей Ивановной видеться приходилось?

— Она же в Вологде. Сначала тоже в Бутырках была. Потом в ссылку, в Вологду отправили.

— Что делать собираешься? Здесь или опять куда?

— Пока не знаю. Огляжуся, там видно будет. Как это у вас все произошло?

— Тоже долгая история. После об этом.

На сцене рабочие снимали знамена, брали их, шли к выходу. Другие, с черными повязками через плечо, подходили к

помосту по четверо, брали гроб на полотенца. Девять гробов протянулись от двери до самой сцены. Студенческий хор запел похоронный марш, и процесия медленно двинулась.

Возле училища стояли сани, доверху нагруженные можжухой. Артем Крутов и Васька Работнов, ездили за можжухой в лес, сейчас раздавали ее охапками толпе мальчишек. Те бежали впереди процесии, усыпали ветками дорогу.

Провожать в последний путь убитых казаками рабочих вышла вся слободка. Пока в церкви шло отпевание, толпа запрудила кладбище. Родных и близких молчаливо пропускали к могиле, желтеющей по краям песчаной землей.

Артем, отправив Ваську Работнова с лошадью, сам пробрался вперед, встал возле сумрачного, заплаканного Егора Дерина. Егор поддерживал мать. Ее глаза сухо горели на изможденном, почерневшем от горя лице.

Носильщики поставили гробы на песчаную насыпь и отошли, чтобы не мешать родным прощаться. Заголосили женщины, украдкой смахивали скучные слезы мужчины.

Затуманившись взглядом Артем смотрел на Марфушу. Смерть почти не изменила ее. Вот, кажется, окликни — откроет глаза, скажет ласково: «Темка, родной ты мой...»

Он видел, как перед гробом опустился на колени отец, поцеловал сложенные на груди странно белые Марфушкины руки, как судорожно дернулся его кадык, когда он поднимал голову. Отцу, видно, совестно было показывать себя едва сдерживающимся от рыданий, он старался прятать лицо в поднятый воротник пальто, ни на кого не смотрел.

— Шел бы, простился, а то закроют, не увидишь больше, — сказала Артему женщина, закутанная черным платком. Платок закрывал рот и нос, виднелись одни строгие глаза. Артем не сразу признал в женщине Марью Паутову. А она подталкивала его, шептала упрямо:

— Иди, иди, роднее-то у нее никого нет.

Запинаясь, плохо видя, он прошел к гробу. Вставать на колени и целовать Марфушу руки, как делал отец, он не решился. С размаху поклонился в пояс, но, выпрямляясь, поскользнулся на сыпучем песке и чуть не упал. Сгорая от стыда за свою неловкость, Артем ринулся в толпу и все, что потом было — и как заколачивали крышки, и как строились дружинники для прощального салюта, как стреляли, — он видел из-за голов, вставая на носки и вытягивая шею.

В предрассветной тиши крадутся к конторе те, кто пользовался на полуторное жалованье. Нелегко даются лишние рубли: несмотря на мороз, остановится иной, вытрут взмокший лоб — не встретить бы знакомых! Что ж, осталось еще пересечь площадь перед Белым корпусом, а там и контора. Застучат топотливо сапоги по ступенькам лестницы. В конторе можно вздохнуть спокойнее, посудачить с таким же горемыкой о нынешних порядках.

И то сказать: почтово-телеграфная контора прекратила занятия, поезда не ходят — город совершенно отрезан от внешнего мира. Есть слухи, что в Москве рабочие вышли на улицы, сражаются с войсками. А здесь фабричная слободка без сражения перешла в руки забастовщиков. Полиция сунуться боится, вместо нее дружинники ходят по улицам — сами себе хозяева. В лабазе распоряжается продовольственная комиссия — получай установленный паек и кончено, ничего не добавят, хоть и деньги даешь. Иди, дескать, в город. Легко сказать, иди. Не раньше, когда можно было сесть на трамвай или нанять извозчика. Сейчас вагоны не ходят, извозчика тоже днем с огнем не сыщешь.

Раздумается служащий обо всем этом и не сразу сообразит, чего надо от него парням с красными повязками на рукавах — они разгуливают возле конторы, поглядывают по сторонам.

— Куда? — спрашивают строго. — Поворачивай назад. Совесть проел, собака служебная?

Глаза злые, поводят плечами. С такими не заспоришь. Попятали служащий:

— Я что... Меня попросили... Нельзя, так и не пойду.

— Вот-вот, так-то лучше будет.

Старший конторщик Лихачев вышел из подъезда Белого корпуса. Шел важно, подняв голову, — неприступный, величавый. На парней посмотрел полуупротивительно, но остановился, решая — прикрикнуть или молчаливо, сохраняя достоинство, обойти стороной. Нынче повышать тон небезопасно, поэтому лучше не связываться. Лихачев сделал шаг влево. Коренастый в черном полупальто парень тоже поспешил шагнул влево. Лихачев, досадуя, хотел обойти группу с правой стороны. И опять ему загородили дорогу.

— В чем дело? — робея, спросил конторщик.

- Возвращайтесь домой.
- Как домой? Вы кто такие?
- Парни дружно показали на красные повязки.
- Все равно, — упавшим голосом проговорил конторщик. — Что вы хотите?

— Вам уже сказали: идите домой.

— Я иду на службу...

— Кончилась ваша служба. Идите, идите.

Первый раз с Лихачевым случилось такое, когда в будний день он был не в конторе. От мысли, что надо искать себе какое-то занятие, он растерялся. По дому у него никаких дел не было, в гости идти не к кому — не любил водить компанию. Неуверенно подошел к подъезду и не стал подниматься в квартиру, оглядывался, словно искал кого-то, кто бы подсказал, что ему делать.

На площади показался табельщик Егорычев. Лихачев хотел его окликнуть, но пересилило любопытство: «Ну-ка, ну-ка, тебе что скажут».

Сказали Егорычеву, видимо, то же самое. Табельщик что-то горячо доказывал, пытался прорваться сквозь заслон. И достукался: парни не очень вежливо повернули его, толкнули в спину.

— Серафим Евстигнеевич! — позвал Лихачев табельщика, когда тот, возвращаясь, поравнялся с подъездом.

— А, это ты, Павел Константинович, — как ни в чем не бывало, откликнулся Егорычев. — Подышать на морозец вышел?

— Выглянул вот на минуту, — бодро сказал Лихачев. — И вы тоже?

— Гуляю-с... Мы люди свободные.

— Может, и меня прихватите?

— Отчего же, присоединяйтесь.

Шли по площади молчаливо, прислушивались к скрипу снега под ногами.

— Не пустили, Серафим Евстигнеевич? — сочувственно спросил потом Лихачев.

— Да и тебя, догадываюсь, тоже, — не удивляясь, ответил Егорычев. — Раньше-то об эту пору уж давно сидел бы за конторским столом. Точность у тебя, Павел Константинович, за-видная.

— И как вы думаете, что мы будем делать?

— Пойдем к директору, засвидетельствуем, так сказать: мы готовы, но...

«Конечно же, к директору! — подумал Лихачев. — Как сам не догадался!»

— У вас золотая голова, Серафим Евстигнеевич, — польстил он табельщику.

— Обыкновенная-с, — отказался от излишней чести Егорычев.

У входа в училище слышалась ругань.

— Не пропустим. Нечего делать.

— Как сказать! Такой же человек...

— Ты городовой — не человек. Проваливай, пока не накостыляли.

— А вы мне не грозите. Я жаловаться иду.

— Хо, кто тебя слушать будет!

В училище рвался городовой Бабкин. Артем и Егор Дерин его не пускали.

Однако сладить с напористым Бабкиным было не так просто, шаг за шагом он продвигался к двери. И ребятам пришлось пойти на уступку.

— Сходи, Артем, позови кого-нибудь из наших, — сказал Егор. — А я за ним посмотрю...

— И смотреть нечего. Не убегу, пока не повидаю Крутова.

Бабкин, устав от борьбы, поуспокоился, полез за кисетом. Редкие кошачьи усы его обиженно вздрагивали.

— Порядок блюсти по-умному не каждому дано, — втолковывал он Егору. — Допустим, ты приставлен к околотку, обходишь его и видишь — собирается толпа, шумит. Что ты, толкаться начнешь? Нет. Ты подходишь и вежливо: «Разойди-и-сь! Не полагается!»

— Навидались мы вашей вежливости, до сих пор загорбки побаливают, — насмешливо сказал Егор.

— Что ты сейчас должен был сделать, — не отвечая на слова парня, продолжал Бабкин. — Спросить прежде, по какому делу иду. А потом и решать, пускать меня или не пускать. А ты толкаться начал, кричать...

— Еще и поколотить бы надо. Тебе русским языком было сказано: не лезь, не пустим.

— Да как же ты не пустишь, когда я по делу иду?

— Иди к Цыбакину со своими делами.
— Ты меня Цыбакиным не попрекай, — рассерженно объявил Бабкин. — Он мне не кум и не сват, гостеваться с ним не приходится.

Артем привел отца. Федор, придерживая перевязанную руку, пристально смотрел на городового.

— Чего у тебя? — не очень приветливо спросил он.

— Чего — это разговор особый, — со спокойной уверенностью ответил Бабкин, хитрил глазами. — Ты прежде скажи им, чтобы они меня не задерживали, пропускали, когда иду. Я ведь тебя пропускал... Ну хотя бы, когда ты из каморок со студентом выходил. В фартуке тот студент...

— Так, — мрачно перебил его Федор. — Услуга за услугу. Поторговаться пришел. Ну, говори, что тебе нужно?

— Значит, не пустишь, на холодке будем говорить, — сказал Бабкин и сердито наступил.

Федор отступил от двери, показал здоровой рукой:

— Проходи, только долго говорить мне с тобой не о чем.

— Раз так, я и отсюда, — отказался Бабкин. — С жалобой на твоих дружинников. Митрохины два брата — Серега и Колька — оружие мое забрали. Вели отдать. Сам знаешь, вреда я не делал. А мне за оружие суд грозит. Семья все-таки, ребята. Войди в положение.

— Не у одного у тебя забрали. Дело обычное.

— Обычное-то оно обычное, да ведь как начальство посмотрит.

— Повышения, конечно, не получишь, а выгонят из полиции — беды большой нет. На фабрику пойдешь, туда с радостью возьмут.

— Смеешься! Мне каково...

— Не могу, — решительно сказал Федор. — Оружие отбирается по решению стачечного комитета.

— Что же мне делать? Посоветуй.

— Уходи из полиции.

— Нет.

— На нет и суда нет. До свидания.

Федор ушел, а Бабкин все еще топтался у входа, медлил. Егор тронул его.

— Слышал, что сказали? Двигай.

— Но, но, не очень-то, — заерепенился Бабкин. — Взяли волю.

- Силу почуяли, вот и взяли, — отрезал Егор.
- Посмотрим еще, чья сила-то наверху будет, — с угрозой сказал Бабкин.

Федор вернулся в училище, где на сцене в отгороженном углу сидели за столом Алексей Подосенов и Маркел Калинин. Маркел сумрачно дымил цигаркой, мял в кулаке черную с просьдью бороду. Он только что пришел из лабаза — вместе с приказчиком подсчитывал оставшиеся запасы продовольствия. При самой строгой экономии муки и круп хватит всего дня на три, картофеля и того меньше, а у лабаза и сейчас стоит длинная очередь изголодавшихся людей. Денег ни у кого нет, все давно получают по заборным книжкам в долг. Имеющуюся в кассе лабаза сумму можно было пустить на закупку продуктов, но приказчик ни в какую не соглашается, требует распоряжения директора.

— Пиши приказчику бумагу, — сказал Федор Подосенову. — Ослушаешься, деньги заберем силой, а его будем судить на народе. Так и укажи.

Подосенов взял чистый лист, осторожно обмакнул перо в чернильнице, наморщил лоб, задумался — нелегко давалось ему сочинение разных бумаг.

Пока он писал, появился Артем и сказал отцу, что его хочет видеть Андрей Фомичев. Федор недовольно выслушал, но не отказал.

Фомичев выглядел странно робким, пристыженным. Сесть не сел, все поглядывал на Подосенова и Маркела, мялся.

— Отойдем в сторонку, — попросил он Федора. — Я к тебе...

Отошли в другой угол сцены. Андрей теребил пуговицу у пальто, медлил.

— Ну, что ты, как красна девица! — всхлипил Федор. — По делу пришел, так говори.

— Обожди, не так все просто. Давно думал, а вот увидел и сказать не решаюсь. — Андрей вытер потное лицо шапкой, настороженно взглянул в глаза Федору — боялся, видимо, что станет смеяться. — Помнишь, предупреждал тебя, что вызывал меня к себе директор, велел дружбу водить с тобой? Хотел он через меня знать, о чем ты думаешь, что делаешь. Не мог я тогда отказаться: так уж жизнь сложилась — дом строил, свадьбу сыграл, — деньги во как нужны были. А он обещал прибавку

дать... Ничего я против тебя такого не сделал, а совесть не чиста. Кляну себя, что поддался. Тогда какой-то чумной был. Ты правильно сообразил и сказал всем, чтобы не доверяли мне. Попади я тогда на маевку вместе с вами, наверно, рассказал бы директору... Радуюсь, что не доверяли, а сейчас винюсь перед тобой и хочу, чтобы ты мне поверил: Андрей Фомичев подлецом не будет.

— Почему мне об этом говоришь?

— А кому же!

— Соберутся люди, выдь и расскажи им.

Фомичев покраснел, опустил взгляд.

— Мы были когда-то друзьями, — сказал он. — Потому и пришел к тебе. Надеялся, поймешь...

— Я понимаю... Ты против своих пошел, вот и повинись перед ними.

Фомичев с отчаянием махнул рукой.

— Пусть так! Скажу, раз велишь. Только не ожидал я от тебя этого...

Обиженно повернулся и пошел прочь. Спускаясь со сцены по короткой лесенке, он столкнулся с Афанасием Кропиным. Тот не очень вежливо толкнул Фомичева, крупно шагнул к столу. Был он встрепан, тяжело дышал — наверно, бежал до училища.

— От Грязнова приказ отгрузить пять вагонов хлопку. Паровоз подали, грузчиков с какой-то фабрики привезли. Что скажешь на это?

— К складу приставлен ты, — сказал ему Федор, — тебе и решать прежде.

Афанасий сел на скамейку рядом с Маркелом Калининым, полез в карман за табаком. Глаза блестели озорством.

— А мы решили: велели тем же ходом обратно.

— Молодцы!

— Значит, верно решили? — обрадовался Афанасий. — С ними подрядчик был, так он шумел и помчался за Грязновым. А я сюда... Пойду, надо встретить.

Он, видимо, встретил и сказал, что надо, потому что минут через двадцать в училище появился сам Грязнов. Дежурные у входа не посмели его остановить. Переоборов гордость, директор сел на подвинутый Подосеновым стул, оперся на поставленную меж колен трость. Мельком, любопытствуя, оглядел сцену: «Вот, оказывается, где заседает рабочая власть». Пыжиковую

лохматую шапку он положил на стол. Подосенов опасливо передвинул подальше чернильницу — не облить бы ненароком.

— Допустим, вам есть резон не пускать служащих в коптиру: не хотите, чтобы они делали расчет рабочим, — глуховато, спокойным голосом проговорил Грязнов, впиваясь любопытным взглядом в лицо Федора. — А почему товар задерживаете, не даете выполнять мое указание? Мне непонятно.

Подавшиесь к нему, Федор неосторожно потревожил простреленную руку, от резкой боли скрипнул зубами. На лбу выступила испарина.

Он поправил повязку, ответил с запозданием:

— Вы все прекрасно понимаете, Алексей Флегонтович. Рабочие не хотят, чтобы фабрика осталась без хлопка. Они надеются встать к машинам.

Взглянув на Подосенова и Маркела Калинина, которые тихо, боясь пошевелиться, сидели за столом, напряженно вслушивались, Грязнов шумно вздохнул, обратился к Федору:

— Я хотел поговорить с вами наедине, откровенно.

Подосенов и Калинин сразу же поднялись, но Федор недовольно остановил их:

— Мне нечего скрывать от своих товарищей. Говорите при них.

— Что ж, дело хозяйственное, — сказал Грязнов. — Собственно, и нет никакого секрета. Я хотел выяснить для себя несколько вопросов. Вы привыкли видеть меня директором и только, не каждому в голову приходит, что я еще и человек, для которого небезразлично, что делается вокруг. Так вот с первых дней забастовки я приглядываюсь к вам. Не скрою, мне нравится, как вы ведете дело. Но когда я раздумываю о том, чем все это кончится, меня начинает удивлять ваша неприкрытая наивность. Неужели вы думаете голыми руками захватить власть? Вы неорганизованны, у вас нет войск. На что вы надеетесь?

— Только на себя, Алексей Флегонтович. Припомните, какими были наши фабричные десять лет назад, какими они стали теперь. Не сейчас, так через год, не через год, так через пять, но рабочие возьмут власть.

— Допустим, я могу понять, что так и будет. Но что делать вам в нынешних условиях? Надеюсь, вы слышали, что восстание в Москве подавлено... Скоро войска прибудут сюда и начнутся аресты. Вы проиграли. Не лучше ли заблаговременно смириться самим?

— Рано говорить о том, что мы проиграли.

Грязнов рассерденно стукнул тростью о пол, возбужденно поднялся.

— Вот та самая неприкрытая наивность, — сказал он. — Поверьте, я с вами очень искренен. Кроме того, знаю больше, чем вы... Прекратите забастовку, для вас будет лучше.

— Это все, что вы хотели сообщить нам? — спросил Федор.

— Да.

— Вы ничего не говорите о том, будут ли удовлетворены наши требования?

— Еще неделю назад они могли быть частично уважены. Сейчас это исключено. Мастеровые приступают к работе на старых условиях.

— Вы действительно что-то знаете, чего не знаем мы, — медленно сказал Федор. Спросил, обращаясь к Подосенову и Калинину: — Что мы ответим господину директору?

— Что и раньше, — помедлив, сказал Подосенов. — После всего случившегося рабочие и слушать не станут, чтобы встать на работу на прежних условиях.

— Значит, будете упорствовать?

— До тех пор, пока не узнаем, что владелец идет на уступки.

— Хорошо. — Грязнов повернулся. Уходя, бросил с угрозой: — До сего дня я надеялся на ваше благородумие. Теперь вы вынуждаете меня искать способы, как прекратить забастовку.

— Вы эти способы ищете все полтора месяца, — насмешливо откликнулся Федор.

Все-таки разговор с Грязновым заставил задуматься. Сидели молчаливо. Подосенов дописывал распоряжение стачечного комитета об изъятии денег из кассы лабаза для закупки продуктов. Поставил подпись, оставив место расписаться Федору. Затем передал Маркелу. Хлопнул того по плечу.

— Что смурый? Напугался угроз директора?

Маркел неторопливо корявыми пальцами сложил бумагу, сунул в шапку и грузно поднялся.

— Пошел я, — сказал он, не отвечая Подосенову. — Так, если заупрямится приказчик, вести сюда?

— Тащи. Мы ему горячие припарки устроим. И смотри веселей, не наводи тоску на других.

— Веселого мало. Бабы каждый день подступаются — голо-

дают, детишки тенями стали. А поди-ка узнают, что ничего не добились...

— Так просто не сдадимся.

— Оно конечно, стоять будем.

Когда Маркел ушел, Подосенов сказал озабоченно:

— Грязнов не зря напирал, что-то у него на уме есть. Нежели в Москве все кончено? Евлампий, выходит, зря говорил.

— Евлампий две недели, как оттуда. За это время все могло быть.

— Если кончится забастовка ничем, как людям сказать об этом? Не то думали, когда поднимались...

— Еще ничего неизвестно. Но если даже и прекратим бастовать — полтора месяца много дали, на будущее пригодится.

— Да, будущее... Пока все для будущего... Давай-ка мы с тобой осторожничать. Директор обещал искать способы, а он человек дела. Уж что-нибудь да придумает... Квартира тебе подыскана, в безопасности будешь. Перебрался бы все-таки. Нельзя тебе дома...

— Есть у меня где. Лучшей квартиры не найдешь.

— Ну, смотри.

8

Варя встретила Федора нерадостно. Он разулся у порога, прошел по свежевымытому полу к кроватке дочери, стоял, затаив дыхание, боясь разбудить. Варя наблюдала за ним от стола, где перетирала чашки. Слабо попискивал на столе самовар.

Все последние дни Федор приходил поздно вечером и рано, когда Варя еще спала, бесшумно собирался и исчезал. Ей никак не удавалось с ним поговорить. Нет, так дольше оставаться не может. Наверно, есть женщины, которые покорно смиряются с тем, что выпало на их долю. Она не из таких. Прежде всего, она хочет спокойной жизни, а он обязан позаботиться, чтобы ей было хорошо. Имеет же она право на счастье? Если он не может этого понять, пусть как знает, она найдет в себе сил, чтобы устроить свою жизнь так, как ей нравится.

Федор словно почувствовал ее пристальный взгляд, обернулся к ней. Лицо у него было доброе и смущенное.

— Опять сердишься, — огорченно сказал он. Подошел к ней

и попытался обнять. Варя отстранилась. Он сел напротив, положил согнутую в локте больную руку на стол. Глаза у Вари наполнились слезами.

— Мне надоело сердиться, что толку? — капризно сказала она. — Я не знаю, что со мной будет.. Твоя бесчувственность убивает...

— Ну зачем же так. — Федор улыбнулся растерянно.

— Я опять тебе говорю, уедем отсюда, — с мольбой попросила Варя. — Если не жалеешь себя, подумай о нас с дочерью. Каждый день я жду тебя и мне кажется, что ты не придешь. Уедем, пока не поздно. Ничего нам не надо...

Федор смотрел в окно в узкую щелку между косяком и отогнувшейся занавеской. На улице сыпал сырой, крупными хлопьями снег, налипал на стекла. Назойливо стучали стенные ходики: не надо, не надо... А что в самом деле ему надо? Тридцать с лишним лет прожил. Как сон: в парнях — работа, гулянка, озорство, позднее тюрьма, встречи с разными людьми — и все переменилось. И теперь, видимо, до конца дней будут вечные волнения, будут тюрьмы... Говорят, у таких жены разделяют вместе все тяготы...

— Почему ты молчишь? — спросила Варя.

— Куда же сейчас с ребенком. — Надо бы сказать ей обо всем прямо, откровенно и никак не решиться — жалко, слишком издергана за последнее время.

— Нет, не поэтому. Тебя удерживает другое.

— Это тоже правда.

— Пойми, вы не продержитесь и недели. Фабрика выписала на свое содержание казаков, уже готовят пожарку для постоя. Можно догадываться, что вас ждет... Пока не поздно, надо прекратить забастовку и подумать о себе. Если вы не скроетесь, вас схватят.

— Откуда тебе известно? — встревоженно спросил Федор. Всю усталость как рукой сняло, недоверчиво смотрел в ее заплаканное лицо. — Кто сказал о казаках?

— А-а! Не все ли равно. Главное, что это так. Брат не хочет тебе зла. Все может обойтись по-хорошему, послушайся меня, уедем.

— Когда ты об этом узнала?

— Утром. Он пришел и сказал мне... Ему тоже не хочется осложнений. А когда прибудут казаки, без этого не обойдется... И я тебя предупреждаю: или мы едем сразу же, или я еду без

тебя. Лучшего выхода не вижу. Я не хочу, чтобы все произошло на моих глазах. Я не выдержу...

— Решай как знаешь, теперь я тем более не могу...

— Господи, надо же быть таким бесчувственным! — воскликнула Варя. Она прошла в другую комнату. Слышно было, как взбивала подушки, как легла. Федор сидел за столом, подперев ладонью голову. Ходики все тикали: не надо, не надо...

Вот почему с такой уверенностью говорил сегодня Грязнов, что еще неделю назад владелец фабрики мог пойти на некоторые уступки. Теперь он надеется на силу. Завтра же надо сообщить в лицей — пусть напишут в газету или отпечатают листовку. В городе сочувствуют забастовщикам. Может быть, общее возмущение заставит владельца отказаться от казаков. Так или иначе, моральной поддержкой фабричные рабочие будут обеспечены.

В наружную дверь раздался резкий стук. Федор поднял голову, насторожился. Вышла Варя, растерянно посмотрела на часы — половина первого. Стук повторился. Федор поспешил оделся, нашупал в кармане револьвер.

— Открывайте! Полиция! — прогремело снаружи.

Варя бросилась к комоду за ключом, передала Федору.

— Иди из кладовой, там окно с одними рамами.

Обняла торопливо, подтолкнула. Федор поцеловал дочь, оглянулся еще раз на Варю, слабая, виноватая улыбка появилась на его лице. Сказал с любовью:

— Прости, если можешь...

— Скорей!.. Уходи!

Федор вышел в коридор. В наружную дверь зло стучали, но ломать не решались — знали все-таки, кто живет в доме.

В кладовой было темно и холодно. Стараясь не зацепить что-нибудь, Федор пробрался к окну. На подоконнике белел снег, наметенный в щели. Он откинул крючок, рама скрипнула. Внизу густо росли ломкие кусты бузины, виднелся острый гребень сугроба. Федор взобрался на подоконник, прыгнул. Увяз по пояс. С трудом вытаскивая ноги, пошел к забору. Очевидно, Варя уже открыла дверь.

До забора оставалось не больше десяти шагов, когда сзади крикнули зычно:

— Через окно убежал!

Голос показался знакомым, по чей — вспомнить не мог. Подумал, что зря поспешил, не закрыл за собой кладовую, да и

окно не прикрыло. Выбиваясь из последних сил, рванулся к забору. Доски были пригнаны плотно, а подпрыгнуть, чтобы ухватиться за верх, никак не удавалось — ноги глубоко вязли в снегу. Если бы не больная рука...

Сзади уже слышалось тяжелое дыхание городовых, шли прямо к нему, по следу. Рука наконец нашупала выбитый сучок — просунул всего два пальца. Но и этого оказалось достаточно, чтобы подтянуться. Сцепив зубы, вскинул простреленную руку на верх доски, ухватился. От боли потемнело в глазах, застучала в висках кровь. Перехватился здоровой рукой, висел, отдыхая.

— Стреляй! Уйдет! — истошно закричали сзади, совсем близко.

«Да это же Бабкин, — узнал по голосу Федор. — Услуга за услугу...»

Сразу раздалось несколько выстрелов. Федор не слышал их. Все еще старался перевалиться на ту сторону забора, но тело ослабло, он тяжело рухнул в снег.

9

Артем, не раздеваясь, сидел на стуле у двери, опустив голову на руки. Варя хлопотала возле дочки, пыталась успокоить. Ребенок кричал. Артем икоса взглядывал на красное лицо, раскрытый беззубый рот, удивлялся — сестренка! Назвали Еленой — так хотел отец.

Варя взяла девочку на руки, прошлась по комнате, баюкая. Ребенок не затихал.

— Давайте покачаю, — предложил Артем.

Варя не ответила. Слезы застилали ей глаза. Артем подумал, что они не просыхали у нее с того дня, как убили отца. Хотелось сказать что-то ласковое, утешить — не мог найти слов. Хмурился, вспоминал, как сегодня Маркел Калинин с горечью говорил: «Сколько погоняли в Сибирь и в петлю, сколько погибло, думали — решительный бой. Одним махом все нарушено, не подняться теперь».

В слободке стало глухо, все ждут худшего. На фабрике мастеровыми спешно готовят расчет, потом будут набирать с разбором — многим придется искать работу на стороне. В пожарке

разместились сотня уральских казаков — проходу не дают, чуть что — хлещут нагайками. Дружинники притихли, оружие прятали — ни во что не вмешиваются.

Девочка уснула на руках скорее. Варя уложила ее в кроватку, взглянула на стенные ходики.

— Без пятнадцати восемь. Что-то долго, не случилось ли чего?

Ждали, когда приедет Машенька. Вот уже два раза Варя встречала подозрительного человека, который крутился возле больницы, заглядывал в окна. В последний раз спросила в упор: кого, собственно, надо? Тот, прикрывая лицо воротником пальто, ответил заискивающе:

— Родственничек у меня не лежит ли? Потерялся во время побоища с казаками. Сокульский.

— Такого нет, можете быть уверены, — резко ответила Варя.

В тот же день она с тревогой сообщила Машеньке:

— У них хватит ума арестовать в таком состоянии. А это для него смерть.

Решили переправить Мироныча в более безопасное место, лучше совсем вывезти из города, где начались повальные аресты. Варя взяла бы фабричную лошадь — кучер Антип нем как рыба и все для нее сделает. Но возок могли задержать при выезде из города, на заставе. Тогда Машенька вспомнила, что у нее есть знакомый студент-медик — сын помещика Некрасова, владельца Карабихской усадьбы. Сам помещик Федор Алексеевич, по прозвищу Чалый, был хорошо известен в городе — нрав имел буйный, обид ни от кого не сносил, и его побаивались. Местные газеты охотно описывали его пьяные разгулы: и сколько зеркал в «Столбах» побил, и сколько стульев сломал. Машенька и надеялась воспользоваться некрасовскими лошадьми — на заставе никому в голову не придет остановить их.

Устали ждать, когда наконец в коридоре тяжело затопали сапоги. Вошел Васька Работнов. Варя замахала на него руками, не велела подходить близко к кроватке — обдаст холодом.

— Приехали, — сообщил Васька.

— Кто-то из вас должен побывать здесь, — сказала Варя. — Не могу я оставить ребенка.

Артем кивнул Ваське:

— Раздевайся. Проснется — качай.

Васька глупо хмыкнул. Снял пальто, потер руки, согревая. Стараясь не дышать, заглянул в кроватку.

- А заревет если? — спросил растерянно.
- Покачаешь — успокоится.
- Ладно.

Варя оделась. Вышли на улицу. К ночи стало сильно морозить, зло скрипел под ногами снег. Сзади больничного корпуса увидели возок, запряженный в пару. Две фигуры — тоненькая, женская, и мужская — стояли возле.

За Миронычем пошли втроем. Машенька осталась у возка. Молодой Некрасов ступал широко, спокойно. Сонная нянька испуганно шарахнулась от них, не сразу признав Варю.

— Свои, Ивановна, — сказала ей Варя.

— Да уж вижу, Варвара Флегонтовна. — Старуха открыла ключом дверь на второй этаж, осталась ждать внизу.

Мироныч не спал, сидел в кровати, откинувшись на подушки. Его осторожно одели, взяли на руки. Варя оглядела палату — не оставили ли чего, прихватила с тумбочки книги.

С бережью усадили Мироныча в возок. Некрасов достал из-под облучка припрятанную отцовскую шубу, накинул на больного.

— За Федора Алексеевича и сойдешь, — сказал Мироныч. — Не раскучтывайся, притворись спящим.

Машенька села рядом с Миронычом, Артем пристроился у них в ногах. Некрасов вскочил на козлы.

— До свидания, Варвара Флегонтовна. Спасибо за все доброе, — хрипло проговорил Мироныч.

Варя погладила его по щеке.

— Выздоровливайте. Может, еще свидимся где.

— Непременно свидимся.

Лошади быстро пошли, заскрипел под полозьями снег. Ехали переулками, где глушше, меньше людей. На Московском вокзале, освещенном электрическими фонарями, благополучно миновали полицейскую будку. Теперь оставалось проехать заставу перед селом Крест, а там пятнадцать верст по большаку — в такое позднее время мало вероятности наткнуться на кого-либо.

Не доезжая заставы, увидели человека, выбиравшегося с обочины, от кустов, на дорогу. То был Егор Дерин. Некрасов приостановил лошадей. Артем выпрыгнул из возка, попрощался с Машенькой, пожал безжизненную руку Мироныча.

— До лучших времен. Счастливо!

Мироныч повернулся к нему. Видимо, это стоило больших усилий — лицо исказилось от боли. Сказал горячо:

— Они придут, эти времена. Ничего, все вспомним...

Артем встал рядом с Егором. Смотрели вслед, махали. Лошади поравнялись с заставой. Солдат, признав на козлах сына Некрасова, а по шубе самого хозяина, козырнул, не задерживая пропустил возок. Он стал темным пятном и наконец пропал.

— Вот и все. — Егор обнял Артема, сжал так, что у того хрустнули косточки. — Остались одни... Сами теперь взрослые.

Артем взволнованно посмотрел в глаза друга. Помедлили, вглядываясь.

— Отцов наших, Марфушу, всех — никого не забудем! Поклянемся Егор, что станем помнить!

— Всегда будем вместе, чтобы там ни случилось, — сказал Егор.

О ГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	7
Глава вторая	33
Глава третья	82
Глава четвертая	107
Глава пятая	132

Редактор К. Яковлев.

Художественный редактор Д. Поздняков.

Технический редактор В. Панфилова.

Корректор Г. Соколова

Сдано в набор 14 сентября 1965 г. Подписано к печати
4 февраля 1966 г. АК 00022. Бумага типографская № 2,
формат 60×84/16= 5,75 бум. л., 11,5 физ. печ. л., 10,7
 усл. печ. л., 9,65 уч.-изд. л. Тираж 115 000. Заказ 701.
 Цена 43 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по печати.
Ярославль, ул. Трефолева, 12.

Ярославский полиграфкомбинат Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Ярославль, ул. Свободы, 97.